

ПРОЩАЙ ПРОЩЕНИЕ

ВАСКО БАНКОВ



КРУГИ ВАСКО БАНКОВА

КНИГА ПЕРВАЯ · 2026

Василий Тузлуков

Прощай прощение

<https://litres.ru/74682383>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мне надоело жить по чужим правилам. Прощать, потому что так положено. Отвечать сразу, потому что ждут.

Мозг держит около ста пятидесяти связей. В телефоне — тысячи. Часы знают о моём пульсе больше, чем я сам, а мозг, если верить некоторым экспериментам, решает раньше меня.

Обычно советуют уйти или смириться. Уходить жалко. Смиряться скучно. Получилось третье.

Четыре Круга — вес, который я сам, внутри себя, придаю связи. Никого никуда не записываю, никому ничего не объявляю. Пауза — несколько секунд, в которых ещё можно выбрать. Задание с вечера — чтобы успеть раньше мозга. И слуга-машина, которая помнит тысячи, пока я берегу свои сто пятьдесят пять. Кто где — решаю я.

Это не методика и не пособие по разрыву отношений. Я проверяю догадки своей жизнью и чужими экспериментами — и пишу, что не сработало.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

109

Василий Тузлуков

Прощай прощение

Книга первая

Прихожая

Заходите.

Пока на «вы» — на «ты» я перейду через несколько страниц и объясню почему.

Разуваться не нужно. Выходить отсюда, подозреваю, придётся часто: покурить, накапать валерьянки, постоять у окна и решить, что автор всё-таки перегибает.

Кто-то выйдет насовсем, хлопнув дверью. Это нормально. Дверь, правда, скрипит — я её так и не смазал.

На вешалке есть свободные крючки. Можно повесить на них чужие ожидания — те, что на вас когда-то надели. Заберёте на выходе, если они ещё будут нужны.

Тапочек не предлагаю. В этом доме каждый ходит в своём.

И ещё одно, уже без шуток. Здесь будет много о том, как выходить из связей. Но прихожая — это место, через которое входят. И писал я эту книгу для того, чтобы было к кому возвращаться.



Иерусалим, площадь у Стены Плача. 2009.

«Если не я для себя — кто для меня?

Но если я только для себя — что я?

И если не сейчас — когда?»

— Пиркей Авот, 1:14 ¹

Меня учили... и почему «Прощай прощение»

Если не я для себя — кто для меня?

Меня учили быть хорошим.

Вежливым, терпеливым, понимающим.

Меня учили прощать.

Мириться.

Уступать.

Не обижать.

Давать второй шанс.

Иногда — третий.

Особенно если «у человека просто тяжёлый период».

Меня учили родители, учителя, наставники, книжки в мягкой обложке и даже люди в мантиях, у которых уверенность жила там, где у других — сомнения.

Я старался соответствовать чужим ожиданиям. Даже гордился иногда.

Но меня почти никто не учил сохранять себя.

Не в высоком философском смысле.

¹ Пиркей Авот («Поучения отцов») — трактат Мишны об этике и человеческих отношениях. Фраза традиционно приписывается Гиллелю Старшему — одному из самых известных еврейских мудрецов рубежа эр.

В самом обычном.

Как заметить момент, когда отношения начинают разрушать меня быстрее, чем я успеваю себя восстанавливать.

Как признать, что моя доброта иногда работает против меня.

Как выйти из связи, в которой я уже давно живу не любовью, не уважением и даже не надеждой — а страхом почувствовать вину.

Меня не учили быть «плохим» для кого-то конкретного.

Не жестоким.

Не злым.

Не бессердечным.

А неудобным.

Отказывающим.

Прекращающим.

Тем, кто однажды говорит «нет» — и не бросается сразу объяснять, оправдываться и чинить чужое разочарование.

Когда вариантов больше нет.

Когда я или продолжаю разрушать себя — или наконец молча выхожу.

Даже если та самая дверь в прихожей сильно скрипит.

Даже если вслед скажут, что я жестокий, неблагодарный или бессердечный.

И даже если после выхода — пустота.

Которую тоже никто не объяснил.

Но если я только для себя — что я?

Есть и другая крайность, о которой тоже почти никто не предупреждал.

Можно потерять себя, пытаясь угодить всем.

Но можно потерять себя и в бесконечной защите от всех.

Можно так тщательно охранять своё спокойствие, силы и личное пространство, что однажды вокруг останется только идеально проветриваемое одиночество.

Без боли.

Без лишних людей.

Но и без жизни.

Я пишу это не потому, что перестал верить в близость.

Скорее наоборот.

Настоящая любовь и настоящая дружба встречались мне не так часто, чтобы считать их данностью.

И не были такими прочными, чтобы выдерживать любое давление.

А меня учили как раз этому.

Что хорошие отношения нужно сохранять любой ценой.

Что настоящая дружба выдержит всё.

Что любовь обязана быть терпеливой бесконечно.

Что если очень стараться, объяснять, уступать и терпеть — почти всё можно спасти.

Но иногда, пока я героически спасаю отношения, внутри них медленно исчезаю я сам.

И тогда выход — не всегда бегство от любви.

Иногда это попытка сохранить в себе хоть что-то своё,

чтобы способность любить не превратилась в обязанность.

Не только ради себя.

Не ради красивой независимости.

Не ради идеально защищённой жизни, в которой никто не способен причинить неудобство.

А ради тех немногих людей, рядом с которыми я хочу быть собой, а не исполнителем чужих правил.

Ради любви, которая не сводится к терпению.

Ради детей, друзей, близких — тех, кому однажды достанется уже не человек, а его вежливый двойник, бесконечно занятый спасением всех подряд.

Потому что человек, от которого остались одни обязательства, уже не согреет никого.

Даже тех, ради кого всё это было.

И если не сейчас — когда?

Но понять, почему нужно выходить, — ещё не значит выйти.

Я годами замечал, как отношения медленно разрушают.

Признавал, что давно живу по чужим правилам.

Понимал, куда уходят внимание, время и сама жизнь.

И ничего не менял.

Потому что страшно.

Страшно обидеть.

Страшно оказаться виноватым.

Страшно потерять привычный мир.

И остаться одному.

Но ещё страшнее — прожить жизнь, в которой меня самого так и не оказалось.

Притворяться, что не вижу, тоже больше не получается.

Нельзя бесконечно откладывать жизнь «на потом».

Потому что это «потом» очень любит не наступать.

И если не сейчас — когда?

Дождаться, пока я окончательно привыкну жить по чужим правилам?

Пока внутри не останется только раздражение и чувство долга?

Пока близким вместо меня не достанется только «хороший человек»?

Рано или поздно приходится перестать ждать разрешения.

Никто не придёт и не скажет:

«Теперь можно выбирать себя — чтобы сохранить способность быть рядом с другими».

Этому тоже не учили.

Значит, разбираться придётся самому.

Где заканчивается забота о себе и начинается эгоизм — этот вопрос открыт уже две тысячи лет.

Гиллель его поставил — и не закрыл.

Я его тоже не закрою.

Но игнорировать его дальше не получается.

Острее всего он встаёт там, где от меня ждут прощения.

Простить — значит «не думать о себе».

Не простить — значит «думать только о себе».

Третьего мне не предлагали.

Отсюда и название книги.

Слово «прощение» меня всегда царапало.

Звучит красиво, как из учебника нравственности.

А на деле его слишком часто произносят сквозь зубы.

Прикрывают им обиду, злость или просто желание, чтобы «отстали».

Я видел это много раз. И сам так прощал.

Поэтому «прощай» — не о том, что я вычёркиваю прощение из жизни.

Я прощаюсь с привычкой называть этим словом то, что им не является.

А что оно значит для меня — попробую разобраться сам.

Об авторе



Ладакх. 2012.

Меня зовут Василий Тузлуков.

Я не философ и не психолог.

Всё, о чём я пишу здесь, прошло через мою собственную жизнь.

Сноска к Гиллелю — первая в этой книге. Но далеко не последняя.

Их будет много. Потому что ничего принципиально ново-

го я не придумал.

Хотя очень хотелось. Основать какую-нибудь новую науку — Кругологию, а для солидности *Circulosophia*. Или хотя бы новое направление, пусть даже тупиковое.

Но почти каждое моё размышление — если не считать случаев из жизни — начиналось с чужой мысли: услышанной, прочитанной, случайно попавшейся на глаза. Так что теперь пришлось вспоминать и перелопачивать всех, от Гиллеля до Юнга, чтобы передать их слова точнее.

Не факт, что я везде правильно понял автора. Кто-то наверняка поспорит или упрекнёт меня в вольном прочтении. Что ж: я привожу чужие мысли как источник собственных размышлений, а не как доказательство своей правоты.

Подробнее об этом — когда дойду до того, почему в этой книге будет много Шопенгауэра.

Как и большинство, я выстраивал жизнь по общепринятым правилам.

Полный отказ от этих правил не был для меня вариантом: он означал бы одиночество, а к нему я никогда не был готов.

Оставалось другое — хотя бы не врать себе.

Книга первая — три части: зачем, из чего и с какими оговорками. Практика — так она пока называется — книга вторая. Она пишется отдельно и обещает быть самой трудной.

Меня попросили её не дожидаться, и я согласился: три части, мне кажется, можно читать и так.

Первую версию я написал слишком быстро. Эту переписи-

сываю по частям. Так что три — уже больше, чем я себе обещал.

А потом попросили и вторую не дожидаться — дать то, что из неё уже написано. Согласился и на это. Зная, как я отношусь к результату, дописывания можно и не дожидаться. Причём не только читателю.

Так получилась бета-книга: написанное — целиком, недописанное — списком, с пометкой, что с ним сейчас происходит. Карандаш на полях приветствуется.

Для этой книги я выбрал псевдоним — Васко Банков.

Не случайное решение и не ради звучности.

Банков — фамилия, которую когда-то носили мои предки — и по отцовской, и по материнской линии.

В 1829 году они, спасаясь от турецких преследований и в надежде получить защиту от русского царя, как тысячи других болгар, в спешке собрали в узелках самое необходимое и покинули свою землю, дома, имущество.

Длинный путь по плохим лесным дорогам на старых повозках и опасная переправа через Дунай дались дорогой ценой — не все справились, не все дошли.

Они начинали жизнь заново в бесплодной степи Бессарабии, тоскуя по родине и мечтая однажды вернуться.

Но дороги назад так и не случилось.

Их фамилия — Банковы — растворилась в новых поколениях, осталась там, в прошлом. А я — один из потомков, кто решил вернуть её себе, пусть и в виде псевдонима.

Поэтому книга, в которой я говорю «прощай прощение», стала моим личным возвращением.

А Васко...

Так иногда мама, тяжело вздыхая, называла меня, на болгарский манер, очевидно имея в виду, что ничего путного из меня уже не получится — «Ох, Васко, Васко...»

С чего всё началось

Много лет назад никакой теории не было.

Была растерянность: это близость или просто привычка? Я хочу быть рядом — или боюсь уйти?

Однажды случилось что-то совсем мелкое, даже не ссора. Но человек, которого я считал другом, сказал или сделал (неважно что) такое, после чего внутри впервые прозвучало:

«Тот, кто зовётся моим другом, так поступать не может».

Катастрофы не произошло. Мы продолжили общаться. Но слово «друг» исчезло, и я так и не понял, что у нас осталось.

А ещё когда-то, так давно, что смартфонов ещё не было, я записал в блокнот:

«Надо позвонить Н. — потому что так надо. Хотя не хочется».

Н. был не один такой.

И я поймал себя на том, что не понимаю — кто где.

Всё размывается, превращается в какой-то винегрет связей, где непонятно всё — и близость, и дистанция.

И от этого не то чтобы тревожно — но что-то не так.

Тогда и подумал: может, вместо названий мне нужны

уровни. Зоны. Круги.

Чтобы меньше мучиться словами и хоть как-то понимать: где кто.

Не вообще.

Не когда-то.

А сегодня. Сейчас.

Если не готов — не читай

*«Это я говорю для тебя, а не для толпы:
ведь каждый из нас для другого стоит
битком набитого театра».*

— Эпикур (в письме Сенеки к Луцилию)

Дальше — на «ты».

В жизни я предпочитаю «вы», если человек мне не близок.

Но этот текст рождался как разговор с самим собой. А себе «вы» я не говорю.

Утешать эта книга не будет. Рецептов, как стать лучше, сохранить семью или научиться прощать, в ней тоже нет.

Есть попытка разглядеть слова, которые звучат красиво, но слишком часто дорого обходятся. Прощение. Долг. Благодарность. «Так принято».

Некоторые мысли здесь могут показаться неприятными. Что часть правил, по которым я жил, придумана не для меня, а для удобства тех, кто их установил. Что благодарность за прошлое не обязывает терпеть настоящее. Что «когда-то было хорошо» не отменяет того, что сейчас плохо. Что прощение — не обязанность, а выход из связи — не всегда вражда.

Но у этих мыслей есть опасная особенность: их очень легко прочесть как разрешение.

Уйти от всех, кто неудобен. Объявить эгоизм границей. Закрыть дверь перед каждым, кто однажды сделал больно, — и назвать это свободой.

Я и сам не раз читал свои черновики примерно так.

Эта книга не об этом. Она о том, как сохранить себя для тех, кого я действительно люблю. И немалая её часть — о том, как я могу ошибиться, даже когда уверен, что наконец всё понял.

Если тебе сейчас по-настоящему плохо, эта книга — плохая замена человеку рядом. Если нужен покой — возможно, сейчас не время. Если хочется, чтобы кто-то наконец подтвердил, что ты во всём прав, — этого здесь тоже не будет. Я и себе этого не подтверждаю.

Зачем же я тогда её написал?

Во-первых — для себя. Хотелось понять, какие из моих правил действительно мои.

Во-вторых — пока мысль не записана, она кажется мне яснее, чем есть на самом деле. Бумага это быстро исправляет.

В-третьих — это держит голову в тонусе. Судoku тоже держит, но судoku не спорит со мной по ночам.

Так что даже если никто не прочтает эту книгу, мне всё равно будет что из неё вынести.

Поэтому лучше не читай.

Хотя это, конечно, была провокация.

Если она удалась, договоримся сразу: я не буду тебя учить, а ты не будешь верить мне на слово. Особенно там, где я звучу увереннее всего.

Часть 1

Зачем и о чём

Когда я достал чистый лист бумаги — ладно, создал новый файл, — озаглавил его «Зачем и о чём», сразу принялся умничать про основания и мотивы.

Потом остановился и решил признаться — мне просто надоело жить с мыслями, лучшие из которых всегда приходят «на лестнице»².

Когда разговор закончен, посуда убрана, свет погашен, а собеседники уже легли спать.

И сказать их уже некому.

Они никому не нужны.

Им не надо нравиться, убеждать, быть понятыми.

Они не защищаются. Просто есть.

Возможно, поэтому эти мысли и самые честные. Эта книга — попытка сказать их прежде, чем все ложатся спать.

И всё же в этой части я попробую разобраться, почему я вообще задумался о своих связях, о прощении и о том, как окружение влияет на мою жизнь.

² Французское *l'esprit de l'escalier* — «остроумие на лестнице»: удачный ответ, который приходит в голову, когда разговор окончен и ты уже спускаешься по лестнице. Выражение восходит к Дени Дидро («Парадокс об актёре»).

А потом — о словах, на которых держится вся книга.

Прощение. Свобода. Честность. Семья. Вложение. Любовь.

Каждое я когда-то принимал на веру. Теперь пробую разглядеть, что сам под ним понимаю.

И что из всего этого та самая правда.

Моя правда.

Сначала — про слова вообще.

Потому что без этого любой разговор превращается в спор глухих.

Я и сам не раз спорил о понятиях, так и не договорившись, что под ними имею в виду.

Один говорит «прощение» — и слышит за этим почти религиозное смирение.

Другой тем же словом называет простое «не отвечать злом на хамство».

Один вкладывает в «семью» святость кровных уз, другой — «своих по выбору», а третий — вечное бремя.

Слово «долг» для кого-то означает финансы, а для кого-то — моральную удавку, которой удобно управлять.

#I#Аристотель в «Метафизике» писал:#/I#

#I#«Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности — и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно».#/

На нём, как принято считать в учебниках логики, держится закон тождества.

Его простая формула: $A = A$. Казалось бы, банальность.

Но именно из неё вырастает здравый смысл: если слова не совпадают со своим значением, исчезает и сама возможность разговора.

Только за тысячи лет люди так и не научились договариваться о смыслах. Я — тоже.

Продолжаю спорить, называя одними словами разные понятия.

И при этом уверен, что меня понимают.

В главах этой части я не пытаюсь договориться с миром о смыслах.

Я пытаюсь договориться с собой.

Поэтому призывов «понять и принять» здесь не будет.

Я просто фиксирую, что именно я вкладываю в эти слова — чтобы самому не теряться в них дальше.

Ты можешь понимать их иначе.

Это не ошибка и не проблема.

Другое мнение — интересно.

Спор — нет.

Не из высокомерия.

Спор в таких темах обычно превращается в бесполезное

³ Аристотель, «Метафизика», кн. IV (Г), гл. 4, 1006b. Пер. А. В. Кубицкого.

⁴ Аристотель. Метафизика, IV (Г), 4, 1006b. Пер. А. В. Кубицкого.

перетягивание каната.

Всё, на что я претендую: «Я вижу это так».

Посмотрим, что из этого выйдет.

Глава 1

Когда чужие установки становятся моей жизнью

«Если по-настоящему любишь, ценишь

или дорожишь человеком — терпи.

Желательно молча. Желательно вечно».

— из аудиокурса «Как страдать правильно»

Чему меня учили, я уже рассказал. Теперь — как это звучало.

Сколько себя помню, семья, учителя, общество говорили со мной не советами — готовыми истинами. Такими, с которыми не спорят.

Люди приходят в жизнь не просто так.

Дружбу нужно ценить, какой бы она ни была.

Семья — это святое, даже если тебе плохо.

Настоящая любовь выдержит всё.

Прощение — единственный путь к покою.

Разрыв — признак слабости. Хороший человек никогда не уходит первым.

Людей нельзя вычёркивать из жизни.

А чуть позже добавились корпоративные.

Коллектив — это семья.

Мы команда, команда не бросает своих.

Личные чувства не важны, главное — результат.

Не нравится — потерпи, все терпят.

И государственные.

Государство заботится о тебе, даже если ты этого не понимаешь.

Истинный патриот не жалуется, а служит.

Звучало всё это как законы природы.

Хотя это были, скорее, средние значения. Убеждения очень многих людей — но никогда не всех. В соседней стране, в другой вере, в другой семье то же самое слово — «семья», «дружба», «любовь», «прощение» — может значить совсем другое. Дальше в книге я ещё не раз к этому вернусь — в первый раз прямо на полях этой главы.

А если правило не универсально, его стоит хотя бы проверить, прежде чем принимать за закон природы, и одной ссылки на него мало, чтобы требовать его от всех. Мои собственные убеждения вполне могут расходиться с тем, что принято там, где я вырос, — и совпадать с тем, что принято где-то ещё. Это не делает их ни правильнее, ни хуже. Просто моими.

Но тогда все эти правила сводились к одному: терпи и прощай.

Молчи.

Не дёргайся.

Приспосабливайся.

Так складывается привычка предавать себя.

Иногда внутри возникало что-то вроде:

«А если не так?»

Но окружение быстро объясняло, почему не так нельзя.

И тогда — молчать там, где внутри всё кричит «нет».

Оставаться, когда хочется уйти.

Соглашаться, чтобы никого не обидеть, и в итоге обижать самого себя.

Сначала это почти незаметно.

Но из мелочей собирается система, где внешнее весит больше внутреннего, а «другие» оказываются важнее меня.

Парадокс в том, что страдаю не только я.

Мой голод, моя недосказанность — это не только моя проблема. Это силы, которых уже не хватает тем, кто рядом.

Об этом я говорил ещё в Прихожей: сохранять себя нужно не только ради себя.

Так бывает — не только у меня. Когда человек заглушает себя, внутри образуется пустота. И он идёт в отношения не чтобы быть рядом, а чтобы эту пустоту заполнить. Просит внимания там, где мог бы присутствовать. Ждёт одобрения там, где мог бы просто быть. Так в отношения и приносят пустоту: приходят не с собой, а с голодом.

Поэтому речь для меня не о том, чтобы разогнать всех и уйти в гордое одиночество.

Речь о другом: научиться различать, где настоящая близость, а где привычка терпеть.

И перестать перекладывать свой голод и свою боль на тех, кто мне дорог.

Главные вопросы звучат так: как переосмыслить своё отношение к связям, чтобы они перестали работать против меня?

Как выйти из связей, которые меня разрушают, — без чувства вины?

Как понять, кто и какое место занимает в моей жизни?

Как не бояться перемен, если отношения больше не совпадают с тем, кем стал я, он или мы оба?

Как сохранить себя для тех, кого я действительно люблю, вместо того чтобы раздавать себя случайным людям и чужим ожиданиям?

Мне не нужен очередной набор правильных слов и моральных требований. Мне нужен новый взгляд — чтобы не перепутать привычку с близостью, вину — с ответственностью, а терпение — с саморазрушением.

Есть одна традиция, которая мне близка по этой причине, — традиция Наланды.⁵

Нравится не как экзотика и не как украшение для разговора. А как привычка относиться к мысли всерьёз.

Там сомнение — не слабость, вопрос — не нападение.

Мне подходит эта позиция: не «верь, потому что так на-

⁵ Традиция Наланды — условное название интеллектуальной линии буддизма, связанной с древним университетом Наланда в Индии (по традиционной датировке — около 427 года). Её описывают как подход, где важны не лозунги и «слепая вера», а дисциплина мышления: анализ, сомнение, проверка смысла и личная ответственность за выводы. В наши дни эту линию поддерживает Далай-лама XIV, подчёркивая ценность критического мышления и диалога с наукой.

до», а «смотри, проверяй, уточняй, не обманывай себя красивыми словами».

И если у этой книги вообще есть цель, то вот она: вернуть себе право думать и выбирать — без стыда за то, что я не хочу жить по чужим правилам.

Отсюда и разговор — не о морали, а о взгляде.

Я не собираюсь быть жёстким.

Тем более — жестоким.

Но и притворяться, что всё в порядке, — тоже не буду.

Эта книга — не метод и не формула. И уж точно не манифест. Попытка говорить о сложном просто — и чуть меньше жить по инструкциям.

А если не получится — всегда можно издать второй тираж под названием: «Как я снова неуклюже попытался объяснить себе очевидное».

Пока я писал эту книгу, у меня всё время появлялись заметки на полях. Туда лезли самые разные мысли — без структуры, без дисциплины и без уважения к плану. Но они были слишком настоящими, чтобы делать вид, будто их нет.

Нельзя всерьёз говорить о свободе, дружбе или любви тремя-четырьмя предложениями. За этими словами у меня десятилетия размышлений и внутренней борьбы. Собственно, из них и выросла эта книга.

К тому же, когда я делился черновиками с друзьями, мне однажды сказали: «Знаешь, твои поля интереснее, чем аккуратные основные главы». Обидеться я не успел — сначала

рассмеялся, потом задумался, потом согласился.

Была мысль, из заботы о твоём времени, предложить эти отступления пропускать. Потом я посмотрел на них трезво: если что-то получилось интересно, зачем прятать это в сносках?

Так что дальше между главами будут Поля. Читать их вместе с главами или отдельно — решать тебе.

Поле I

Когда слова перестают значить одно и то же

Чужие «правила жизни» из первой главы веками передают, как старый семейный сервиз: он давно разбит, склеен кое-как, но им всё равно заставляют пользоваться и называют это традицией.

Бывает, конечно, и другое наследство — то, что помогает стать собой. Как фамилия, которую я вернул себе. Но здесь речь о сервизе.

Если приглядеться, почти каждое великое слово — «свобода», «смерть», «честь», «стыд» — в одной культуре выглядит естественно, а в другой откровенно абсурдно.

Разбирать культурные различия всерьёз я не собираюсь. Для этой книги куда важнее другие слова — любовь, семья, дружба, прощение. Те самые, которые с детства вбивают в голову как универсальные и святые. На деле они такие же условные — и так же легко становятся инструментом давления.

Но сначала — немного посмеяться над абсурдом чужих

правил. Так потом проще взглянуть на свои.

Свобода

В Америке свободу печатают на футболках и продают на кружках оптом, как сувенир. Человек гордо заявляет: «I'm free!» — и подписывает ипотеку на тридцать лет. Цепи там принято называть «финансовой дисциплиной». Я бы посмеялся, если бы сам не умел называть свои цепи не менее благозвучно.

В Швейцарии, где я живу, свобода — это право голосовать почти по любому поводу. И обязанность не стричь газон в воскресенье, потому что об этом тоже когда-то договорились.

А постсоветский человек философствует на кухне: «Свобода — это когда можно ругать президента...» — и, произнеся это, машинально прибавляет звук телевизора. Свобода свободой, а техника безопасности прежде всего. Кухня эта, признаюсь, знакома мне не понаслышке.

Смерть

В Мексике её встречают с оркестром, костюмами и сахарными черепами — праздник, на который мёртвые снова приходят потанцевать.

В Европе смерть заворачивают в чёрную ткань и обсуждают шёпотом, как что-то неприличное.

Где-то смерть — прежде всего документ: завещание, нотариус и долгий спор о том, кто имеет право назвать покойного «любимым папой» в некрологе.

Честь

Французский офицер XIX века вызывает соперника на дуэль за косой взгляд на балу.

Японский самурай вспарывает себе живот, чтобы не уронить честь семьи.

А в XXI веке офисный менеджер пишет в общий чат: «Алексей, ты удалил мой Excel-файл без разрешения — это удар по моей чести». И по-настоящему страдает.

Самое неприятное — я его понимаю.

Стыд

В Японии железнодорожная компания может публично извиниться за то, что поезд ушёл на двадцать секунд раньше расписания.⁶

Где-то из такого пустяка вырос бы вдохновляющий пост: «Как ушедший поезд изменил мою жизнь и сделал меня сильнее».

А там, где я вырос, иногда стыдным считалось скорее само извинение. Опоздать — бывает. А вот сказать «простите» — уже слабость.

Осёл

Осёл в этом ряду — слово совсем не великое. Но на нём лучше всего видно, как слово живёт отдельно от того, что называет.

Как-то я придумал афоризм: «Люди любят высмеивать то,

⁶ Такое действительно случилось в ноябре 2017 года: оператор линии Tsukuba Express официально извинился за поезд, отправившийся на 20 секунд раньше.

чего не понимают».

Гордился им минут пять — ровно столько, сколько понадобилось, чтобы набрать его в поисковике и найти ту же мысль у Сомерсета Моэма. Классик, да ещё, как выяснилось, в Первую мировую — британский разведчик. С такого что возьмёшь. Правда, в оригинале у Моэма я этой фразы так и не нашёл. То ли ему её приписали, то ли он, как и я, додумался сам. Мудрость, в общем, не бог весть какая.

Зато под неё отлично подходит осёл.

В десяти заповедях — в той их версии, что во Второзаконии, — осёл упоминается дважды, а жена ближнего только один раз.⁷

На молодом ослике Христос въезжает в Иерусалим — и это не бедность и не случайность. На Востоке конь был животным войны: на коне въезжали завоеватели. А на осле — царь, который приходит с миром. Так за несколько веков до того обещал пророк Захария: «кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле».⁸

Выходит, когда-то на ослах ездили цари. Разжаловали осла уже потом.

Во многих древних сюжетах осёл сопровождает богов и пророков. А сегодня почти у всех народов, если верить по-

⁷ Второзаконие 5:14 и 5:21. В версии заповедей из Книги Исхода (20:17) осёл упомянут один раз.

⁸ Зах 9:9–10; Евангелие от Матфея (21:5) прямо ссылается на это пророчество. Там же у Захарии сказано, что Бог истребит колесницы и коней, — ещё одно противопоставление осла боевому коню.

словицам, осёл — это глупость, упрямство и отсутствие достоинства. Одно и то же животное — совсем разные слова.

Те, кто имеет дело с ослами на практике, рассказывают другое. Осёл помнит дорогу и узнаёт хозяина. Он не полезет на скользкий склон только потому, что ему крикнули «Вперёд!». Его держат при отарах, потому что он отгоняет от овец бродячих собак и лис. А то, что называют упрямством, — это остановка: почувствовав, что груз ему не по силам, осёл встаёт и не идёт дальше, пока ношу не облегчат или пока он сам не отдохнёт. Говорят, загнать осла куда труднее, чем лошаадь.

Осёл, получается, вовсе не глупый. Он просто сложнее словицы о себе.

А разбираться в осле долго: нужно держать ослов, ходить с ними по горам, смотреть, как они стоят под грузом.

Смеяться — быстро.

Так что мой афоризм, похоже, всё-таки работает. Хоть и не мой.

В бестиарии Леонардо да Винчи осёл, насколько я могу судить, — образ терпения.⁹ Мне ближе другой вывод: упрямым осла чаще всего называет тот, кто нагрузил на него лишнего.

Когда я останавливаюсь под чужой поклажей, меня тоже

⁹ Фразу, которую Леонардо часто приписывают, — будто упрямым осла зовёт всякий, кому самому не хватает выдержки и терпения, — в первоисточнике я не нашёл. Привожу мысль в пересказе.

называют упрямым. Или эгоистом — смотря кто грузил.

Со стороны чужие правила почти всегда выглядят смешно. Свой — почти никогда.

Но стоит мне посмотреть на штампы, вбитые в меня самого, смех, может, и останется — только нервный, с подрагивающим веком.

Глава 2

Расщепление прощения

О прощении принято говорить как о чём-то светлом и обязательном.

Но в реальной близости оно редко выглядит так.

Чаще всего отношения устроены просто: общение, сотрудничество, компромиссы, ритуалы вежливости.

Всё это привычно и отработано.

Улыбаться, обсуждать новости, спорт и погоду, договариваться о правилах — это позволяет оставаться в обществе приличным человеком и избегать конфликтов.

Но лечить настоящую боль эти ритуалы не умеют.

Сложности начинаются там, где вежливость заканчивается — и остаётся только то, что есть.

Там, где кто-то меня задел.

Где что-то осталось внутри.

Где назревает разрыв — и это слышно уже по тому, как человек говорит «ничего».

Вот здесь и появляется прощение.

Оно требует того, чего не требует почти ничто другое.

Признать собственную уязвимость.

Увидеть в другом не монстра из комикса, а человека — с тенями и растерянностью.

Отпустить то, что так и не закончилось словами.

Не воевать с прошлым, которое уже случилось и которое не перепишешь.

Но слово «прощение» давно обросло чужими смыслами. Моралью, религиозными лозунгами, ожиданиями. Звучит как подвиг. Как обязанность. Поэтому чаще вызывает не облегчение — а отторжение.

Хотя по сути оно не про справедливость. Оно про то, чтобы перестать носить это внутри. Даже там, где финала не было и не будет.

Для меня прощение — не акт великодушия, не вежливый жест и тем более не универсальный способ «исцелиться». Скорее тяжёлая работа: честность с собой, мужество — и силы, которые я не имею права тратить на всех подряд.

Ко мне это слово пришло с багажом — культурным, религиозным, семейным.

Я вырос в православной культуре, где «прощение» подавали мне как универсальную обязанность: прости всех, всегда, несмотря ни на что.

Что-то в этом правиле задевало меня с детства. Но задевало молча: сформулировать, что именно не так, я тогда не мог.

Логика казалась неуязвимой. Если прощение — безуслов-

ное добро, значит, чем его больше, тем лучше. А пределы прощения — уже почти нравственный изъян.

Потом я увидел в этой логике странность.

[[В]]Если у прощения нет меры, нет цены и нет предела, оно обесценивается.[/В]]

И тогда стало понятно ещё одно: требование прощать всех и всегда — не универсальный закон, а один из вариантов.

Чтобы это увидеть, достаточно выйти за пределы культуры, в которой вырос сам.

[[В]]Оказалось, что в разных религиях прощение означает далеко не одно и то же.[/В]]

Поле II

Прощение по прописке

В 2009 году в Иерусалиме, на ночной литургии в Храме Гроба Господня, произошёл разговор, который я до сих пор помню.

В те годы я считал себя тревел-фотографом и стоял чуть поодаль от основной толпы, опираясь на колонну тяжёлым фоторюкзак. Рядом оказался православный батюшка, занятый, судя по всему, организационными вопросами: к нему подходили люди явно воцерковлённые, и он коротко давал им указания.

Как именно он понял, что мы говорим на одном языке, — неважно. Но когда освободился, посмотрел на меня с лёгким неодобрением: стою слишком спокойно, без должного трепета.

— Вот как этот рюкзак ваш, так и грехи наши за спиной тянут нас вниз, — произнёс он с лёгким нажимом.

Я кивнул, но вступать в беседу не стал.

Через какое-то время он снова заговорил, на этот раз глухо, почти со злобой:

— Им всем гореть в аду, — кивнул он в сторону то ли католиков, то ли коптов, может, армян — словом, других христианских конфессий. Время литургий в храме они делят по регламенту, который ещё османские султаны закрепили так называемым Статус-кво¹⁰.

Мой открытый рот, видимо, сказал всё за меня.

— Потому что они неправильно Богу служат. Вероотступники.

— А кто правильно? — решился я наконец поддержать диалог.

— Православные.

— Можно спросить? А мальчик с условного острова Бор-

¹⁰ Режим богослужебного графика и разделения прав в Храме Гроба Господня родился не из богословия, а из усталости империи от бесконечных ссор. В XVIII веке османские султаны столкнулись с тем, что каждая христианская община — православные, католики, армяне и те, кто жил в храме более скромно, — стремилась доказать своё первородство и закрепить за собой каждый алтарь, каждую лампаду, каждый час службы. В 1757 году султан Осман III впервые зафиксировал: кто и когда молится, кто за что отвечает и где чьи стены. Спустя столетие, в 1852-м, султан Абдулмеджид I заморозил всё навечно — «как есть сейчас, так будет всегда». Так появился режим Status Quo: удивительная смесь дипломатии, страха и осторожности, которая действует и сегодня.

нео,¹¹ который никогда не слышал о православии, — он тоже будет гореть в аду?

— Он — нет.

— Почему?

— Именно потому, что он ничего не знал о православии.

Позже я вспомнил Данте.

В «Божественной комедии» есть Лимб — первый круг ада. Там находятся добродетельные язычники:¹² люди, которые жили честно, мудро и достойно, но не могли знать христианства — потому что родились раньше или слишком далеко от него.

Их не мучают.

Их не наказывают.

Но и в рай их не пускают.

Они спасены от боли — но не от лишения. Их вина не в поступках, а в том, что они родились вне правильной исто-

¹¹ Ты спросишь, почему Борнео? Готовясь к поездке в Святую землю — священную как минимум для трёх религий, — я немного погрузился в историю религий вообще и застрял на анимизме: вере в то, что душа есть у всего живого и даже неживого. Понятие ввёл в науку английский этнограф Эдвард Тайлор («Первобытная культура», 1871) — он считал анимизм самой ранней ступенью религии. Традиционные верования даяков Борнео — один из классических его примеров. Так остров и остался для меня условным краем света, где о православии можно ни разу не услышать.

¹² Сам Данте такого выражения не использует: «добродетельными язычниками» (virtuous pagans) обитателей Лимба называют исследователи. У Данте они — «великие духи» («Ад», IV). Я бы назвал их добродетельными грешниками: без вины — и всё же в аду. Рядом с ними, кстати, некрещёные младенцы.

рии.

По Данте, мальчик с условного острова Борнео действительно не горит в аду. Но и в рай не попадает. Он просто оказывается в Лимбе. Имел ли батюшка в виду именно это — не знаю.

...Размышлений после этого разговора было много. Большинство из них — вопросы, на которые у меня до сих пор нет ответа.

Один случайный батюшка — не вся традиция. И Данте — не вся теология. Но иногда одного разговора достаточно, чтобы вопрос не отпускал годами.

Одну мысль оттуда я всё-таки унёс. Если даже ад и рай, по словам батюшки и Данте, зависят от того, в какой истории человек родился, то, может быть, от неё зависит и прощение: кого, за что и сколько раз полагается прощать ещё здесь, в этой жизни, — до той самой «сортировки» по критериям, которые мне так до конца и не объяснили.

Прощение по прописке: куда тебя записали при рождении, там и объяснят, кого и сколько раз прощать.

Религий и верований в мире очень много. Я остановился на нескольких — тех, что мне ближе и известнее.

Христианство — в том виде, в каком оно дошло до меня, — не спрашивало, хочу ли я простить. Оно требовало. «Любите врагов ваших». «Кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую».¹³

¹³ Мф 5:44; Мф 5:39; о «седмижды семидесяти» — Мф 18:21–22. Для спра-

Мне это казалось странной сделкой. Тебя унижают — ты должен простить. Тебя предают — и снова должен. А если не простишь, сам становишься виноват. Не в том, что тебе сделали, а в том, что не очистился. Не спасся. Так это выглядело для меня: обидчик может уйти с лёгким сердцем, а жертва обязана страдать — вежливо и духовно.

Когда Пётр спросил, до семи ли раз прощать брату, ответ был: до седмижды семидесяти. Ребёнком я, кажется, даже посчитал: четыреста девяносто. Выходило, что счёт всё-таки есть. Просто до него не дожить.

Позже я нашёл у Луки и другое: «если покается, прости ему». Там прощение связано с покаянием. Но до меня тогда дошла только первая половина.

В детстве я сжимал кулаки от этой несправедливости. Во взрослом возрасте начал разжимать — но не потому что стал добрее. Я засомневался, что эти правила одни для всех.

Проверить эту мысль оказалось несложно.

В иудаизме я мог бы не простить того, кто не покался, — и никто бы меня не осудил. Больше того: даже Йом-Кипур, День искупления, не снимает вины за обиду, нанесённую человеку, пока обидчик сам не помирится с обиженным.¹⁴ От-

ведливости: в Евангелии от Луки (17:3–4) прощение связано с покаянием: «если покается, прости ему».

¹⁴ Мишна, Йома 8:9 (Вавилонский Талмуд, Йома 85б): «Грехи между человеком и Всевышним Йом-Кипур искупает, а грехи между человеком и его ближним Йом-Кипур не искупает, пока согрешивший не помирится с пострадавшим». О том, что искренне просящему нужно простить, — Маймонид, «Мишне Тора»,

ветственность лежит на том, кто ударил, а не на том, кого ударили. Правда, если он придёт и попросит искренне, отказывать ему без конца там тоже не принято.



Бухара, Старый город. Навруз 2008.

В исламе я мог бы выбирать. Коран допускает соразмерное воздаяние — и тут же добавляет, что тому, кто простит и установит мир, награда у Аллаха.¹⁵ Прощение там — не долг, а заслуга. Разница, которую мне в детстве никто не объяснил.

В буддизме меня, скорее всего, спросили бы: зачем держаться за это чувство? Ненависть не прекращается ненавистью.¹⁶ Прощают там прежде всего ради себя — чтобы не носить в себе яд. А за свои поступки обидчик отвечает сам, без моей помощи.

В индуизме прощение называли бы великой добродетелью: в «Махабхарате» есть целая хвала прощению. Правда, звучит она в споре. Юдхиштхира славит прощение, а его жена Драупади напоминает, что того, кто прощает всё, перестают уважать. Спор этот, насколько я могу судить, никто так и не выиграл.¹⁷

А в «Дао дэ цзин» есть строчка: на обиду отвечать добром.¹⁸ Конфуций, услышав похожий совет, спросил: а чем то-

¹⁵ Коран 42:40: «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом». О соразмерном возмездии — Коран 5:45, 2:178.

¹⁶ Дхаммапада, стих 5: «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она».

¹⁷ «Махабхарата», кн. III (Араньякапарва), гл. 28–30. В пересказе.

¹⁸ «Дао дэ цзин», гл. 63; ответ Конфуция — «Лунь юй», 14:34 (в некоторых изданиях 14:36). Строка Лао-цзы дана в пересказе.

гда отвечать на добро? И предложил на обиду отвечать справедливостью. Мне кажется, эти двое спорят и сегодня — где-то внутри меня.

После всего этого мои детские сжатые кулачки выглядят уже не так наивно.

Прощение оказалось культурным выбором. Иногда — формой манипуляции.

Дело не в прощении как таковом, а в том, когда, кому и какой ценой его предлагают. Отсюда и желание найти свой язык для разговора о нём. Если это инструмент — значит, у него есть пределы. И цена.

Спор здесь не только о прощении. За ним стоит другой вопрос: что считать истиной — поиск или готовую формулу.

Показательно, что почти одновременно появились два разных ответа на одну и ту же проблему.

Наланду я уже упоминал — традиция, где вера не отменяет проверки. По традиционной датировке, около 427 года в Индии начал складываться этот подход: тексты не принимаются на веру, их разбирают и проверяют в споре. Истина держится не на формуле, а на мышлении.

Почти тогда же — в 451 году — Халкидонский собор фиксирует догмат, и формула становится границей. Не сразу, но постепенно: сомнение в догмате стало опасным. Думать разрешалось — но только в пределах формулы.

Это не значит, что внутри формулы не думают. Мне просто ближе традиция, где сомнение — часть пути, а не угроза

ему.

Эта книга не про спор о религии.

Можно сказать, что я упрощаю — беру одну интерпретацию и делаю из неё вывод. Это справедливое замечание. Я не богослов и не претендую на богословский анализ. Упрощаю я не религии, а их влияние на меня — конкретного человека в конкретной жизни.

Заодно прошу прощения — в этом Поле это звучит особенно уместно — за количество сносок. Они не для того, чтобы выглядеть учёнее, чем я есть. Это следы той самой проверки «прощения по прописке»: места, куда я полез сам, чтобы не пересказывать чужие пересказы. Кто захочет, может пройти этим путём и прийти к другим выводам.

Бывает, слова давят сильнее фактов. Под ними легко прячется манипуляция — особенно когда объясняют, что «только так надо».

Мне важно перестать спорить с «правильными словами» — и начать смотреть, чем это для меня заканчивается.

Отсюда и вывод: прощение для меня — не только добродетель. Это ещё и расход. То, что я отдаю. И вопрос в том, насколько меня на это ещё хватит.

Так появилась метафора «монет прощения». Язык, на котором мне проще говорить о цене и пределах этой практики.

Глава 2 (продолжение)

О монетах прощения

«Прощение — это не подвиг и не обязанность.»

Это редкая монета.

И если раздавать её всем подряд —

пустой карман и толпа, которая уже ждёт ещё».

— бывший оптовик прощений,

теперь в долгах и работает в розницу

Что, если представить, что мне даровано нечто редкое и ценное — предел прощения? Он внутренний, но представлять его удобнее всего в монетах.

Как будто Бог вручил мне мешочек с золотыми монетами, каждая из которых — это возможность простить.

Не просто добродетель, а запас. Ограниченный — и потому ценный.

Эти монеты я могу дарить людям вокруг. Иногда меня просят. Иногда ждут. Иногда предполагают, что я обязан.

А бывает, я сам чувствую, что «должен простить», потому что так принято. Так правильно. Так научили.

Но есть одна проблема: каждое прощение — это расход, а монеты не бесконечны.

Каждый раз, когда я решаю отпустить или поверить снова, — я отдаю монету.

А то и сразу две: отпустить и снова довериться — не одно и то же.

И тогда встают вопросы.

Кому я готов вручить это золото?

Сколько у меня осталось?

Как отличить того, кто примет монету с трепетом, от того,

для кого она — нечто само собой разумеющееся?

Хотя случается, что я отдаю монету тому, кто её даже не заметит. Не ради него — чтобы не носить это в себе.

Если я начну раздавать монеты всем подряд, не задумываясь, мешочек опустеет быстрее, чем я замечу.

Монеты утратят свою ценность. Их получают те, кто не просил, не понимал. А те, кто ждал и был готов, — останутся с пустыми руками.

Так появляется имитация прощения — оно становится маской.

Как если бы я вышел на балкон и начал разбрасывать монеты в шумную, равнодушную толпу.

Без различия.

Без мысли.

Без намерения.

Прощение тогда становится проявлением не внутренней силы, а слабости.

Реакцией по инерции.

Не потому что я действительно отпустил — а потому что больше не осталось ни сил бороться, ни желания разбираться.

Поэтому — прежде чем отдать монету — я смотрю на обе её стороны.

Одну я назову понимание.

Другую — принятие.

Понимание помогает мне увидеть, почему человек посту-

пил так.

Принятие позволяет перестать бороться с тем, что уже произошло — и отпустить.

Иногда понимание ведёт к принятию. Иногда — помогает его избежать. А иногда — не требуется вовсе. Потому что я могу принять, не понимая, и могу понять, но не принять.

Понимание — не критерий решения. Это фон. Усилитель. Подсветка.

А решение всегда остаётся за принятием.

И только когда я смотрю на монету целиком — в контексте конкретного человека, боли, истории — понимаю: отдавать или нет.

Сам.

Без чувства долга.

Без торга.

Без потери себя.

Хотя и тут легко схитрить: объявить человека недостойным монеты только потому, что прощать его мне сейчас неудобно.

О пределе и приумножении

Почему я вообще решил, что монет ограниченное число?

Ответ я нашёл на стене храма Аполлона в Дельфах:

[[В]]«Ничего сверх меры»[[/В]] — *#I#Μηδὲν ἄγαν — Mēdèn ágan#/I#*

Один из древнейших дельфийских заветов.

Человеку нужна мера — в силе, во времени, в желаниях,

в том, сколько он способен отдать другому.

Всё, что переходит меру, способно стать ядом.

Почему прощение должно быть исключением?

У человека всё имеет предел: силы, здоровье, время.

Неограниченное есть только у Бога.

А у всего ограниченного есть цена.

Прощение — тоже.

Поэтому я и представляю его в монетах.

Но означает ли это, что монеты нужно экономить? Закрыться, спрятать, считать каждую, раздавать только самым достойным и только по праздникам — в Йом-Кипур, Прощёное воскресенье или Рамадан?

Нет.

Я так не чувствую.

Расчёт говорит, что монеты кончаются.

А я верю: если тратить их с умом и сердцем, их почему-то не становится меньше.

Как это совмещается, не знаю. Вера и расчёт здесь расходятся — и я это вижу.

Бог ценит не количество отданного, а качество дара. И приумножит то, что даётся не из страха и не по привычке, а из ясности и свободы.

Монеты иногда возвращаются — через тех, кому я их отдал.

У них тоже есть свои монеты.

Иногда — через новые встречи и неожиданную лёгкость.

Но это не сделка. Я не отдаю монету, чтобы она вернулась. И неставляю счёт, если не вернулась.

А если я просто разбрасываю монеты в толпу — случайным людям, без различия, без смысла, без взгляда в глаза — они исчезают. Их подбирают те, кто не чувствует их ценности. От них ничего не вернётся.

Толпа не бросает монеты обратно на балкон.

У метафоры есть и предел: прощение — не плата и не пропуск обратно в мою жизнь.

Она оживает, только когда я задаю себе конкретные, неудобные вопросы.

Чтобы понять, готов ли я отдать кому-то монету, мне хватает нескольких таких вопросов.

Не как тест и не как правило — скорее как внутреннюю проверку на честность.

Здесь нет правильных ответов, и я ищу не их.

Я ищу ощущение: это сейчас мой выбор — или моя привычка.

Или я просто делаю то, что от меня ждут. Как всегда.

Меня действительно просят — или просто ждут, что я «как обычно пойму»?

Человек признаёт свой поступок — или только объясняет, почему был вынужден так поступить?

Если я прощу сейчас, уменьшится ли вероятность повторения — или я только приглашу это сделать ещё раз?

Я отдаю монету из ясности — или из страха?

Я делаю это, чтобы освободиться — или чтобы не чувствовать себя плохим?

И если я не прощу — смогу ли жить дальше без конфликта внутри?

Иногда ответы складываются в тихое «да».

Иногда — в тихое «пока нет».

И этого достаточно.

Прощение — не экзамен.

Это решение, за которое ответственность несу только я.

А пока «пока нет» — я хотя бы не притворяюсь. Ни рассудочно, ни вынужденно, ни мнимо: об этих трёх способах простить понарошку — чуть ниже.

Что ещё можно делать, пока простить не получается, — разговор для второй книги.

Прощение оказалось не одним действием, а несколькими разными состояниями под одним словом.

Готовой классификации, которая бы мне помогла, я не нашёл. Собрал свою — из собственных ошибок. Получилось четыре.

Первое — рассудочное прощение.

Самое вежливое и самое холодное.

Не потому что почувствовал — а потому что «так правильно».

Мне не хочется, но я внутренне подписываю акт о примирении, потому что «умный человек не держит зла».

Как будто закрываю папку с делом, но файл остаётся на

жёстком диске.

Извне — мир. Внутри — архив боли.

Второе — вынужденное.

Когда я не готов, но меня убедили.

Чаще всего — моралью, фразами вроде: «Отпусти, иначе это тебя разрушит».

Сопротивляться чужим ожиданиям уже нет сил, проще согласиться.

Вроде бы всё кончено, но ощущение, что меня снова использовали, остаётся.

Третье — мнимое.

Я говорю себе: «Я всё отпустил» — а на деле просто заморозил боль.

Она не ушла — обросла льдом.

Я даже могу шутить об этом и вроде бы спокойно вспоминать, но внутри время от времени щёлкает трещина.

И тогда выясняется, что это было не освобождение, а способ продержаться.

Четвёртое — осознанное.

Единственное, которое что-то меняет.

Оно не происходит по команде.

Не «надо» и не «пора».

Оно случается, когда я наконец вижу в человеке не только этот поступок. Вижу его несовершенство, страхи, слабость.

И понимаю, почему он поступил так.

Не потому что злой, а потому что вот такой.

И дальше выбираю не столько простить, сколько не носить это в себе.

Перестаю быть хранителем чужой вины.

Я пережил все четыре. И не раз.

За один день можно пройти все четыре — от злости к рас-судку, от обиды к равнодушию, от «прощаю» к «ну, может, когда-нибудь».

Только не стоит путать облегчение с освобождением.

Легче может стать просто потому, что я перестал сопротивляться. Или сдался. Со стороны это похоже на покой.

Собственно, здесь книгу можно было бы и закрыть.

Если у тебя хватает сил прощать всех — искренне, без остатка, без счёта, — я тебе завидую.

Серьёзно.

Это редкий дар, и я не иронизирую.

Но если ты похож на меня — с ограниченным запасом терпения и растущим списком тех, кто на него претендует, — и при этом не хочешь совсем отказываться от прощения, тогда давай разбираться дальше.

Всё, о чём я здесь говорю, легко звучит в теории и куда труднее выдерживается в жизни.

Я уже слышу возражение: а как же Гитлер? Серийный убийца? Насильник детей? Попробуй их простить — расска-жешь потом, как получилось.

Справедливо.

Но даже их может принять мать — обливаясь слезами от

боли и горя.

Без понимания.

Без одобрения.

Просто принять, что это её сын.

Личные монеты прощения — только часть картины. Те же механизмы — вина, долг, обещание награды — я вижу и на другом уровне. Это часть давнего разговора о том, как системы работают с виной и страхом.

О нём — дальше.

Поле III

Рай на потом

или о монетизации страха смерти

«Вы никогда не сможете убедить обезьяну отдать вам банан, пообещав ей безграничное количество бананов после смерти в обезьяньем раю».

— Юваль Ной Харари, «Sapiens»¹⁹

Недавно я стоял перед главной стеной капеллы Скровеньи в Падуе.

Фреска Джотто «Страшный суд».²⁰

Слева — рай. Тихий, аккуратный, почти скучный.

¹⁹ Ю. Н. Харари, «Sapiens. Краткая история человечества», гл. 2.

²⁰ Джотто ди Бондоне (1267–1337) — итальянский художник, один из первых, кто вывел живопись из символического средневековья в человеческую реальность. Его фрески в капелле Скровеньи в Падуе изображают не только рай и ад, но и саму механику человеческих страстей — страх, жадность, гордыню, сострадание. Считается, что он первым заставил людей на фресках смотреть друг на друга, а не только на Бога.

Справа — ад. Шумный, с фантазией и деталями.

А в центре — Христос в круге света. Взгляд у него — как у судьи, который не обсуждает приговор, потому что уже подписал его заранее.

Я смотрел на эту фреску и думал: XIV век. А схема — сегодняшняя.

Награда за покорность — муки за непослушание.

Те же лица, те же позы. Просто теперь без золота и без латыни.

Страх остался — декорации сменились.

На протяжении тысячелетий религии, в разных странах и под разными названиями, пользовались одной и той же гениальной схемой: кнут и пряник, но в загробной упаковке.

Живёшь «правильно» — получаешь посмертный бонус.

Живёшь «неправильно» — отправляешься туда, где жарко, тесно и без кондиционера.

Если страх не срабатывает — включают надежду.

Рай — выбирай дизайн по вкусу. Главное, чтобы человек шёл туда, куда его ведут. Пусть даже за облака.

Я говорю не о надежде тех, кто верит. А о тех, кто научился ею управлять.

Но схема «рай на потом» оказалась не только духовной. Она стала ещё и коммерческой.

Средневековая церковь нашла изящное решение: если рай можно заслужить добрыми делами — значит, его можно и купить.

По учению, индульгенция не прощала грех — она снимала наказание за грех, уже прощённый. Но продавали её так, что разница терялась. Заплатил — легче. Заплатил больше — легче быстрее. Заплатил за умершего родственника — и его срок в чистилище короче.

Лютера возмущала не только цена, но и сама мысль, что прощение продаётся. Одного проповедника он высмеял особенно метко: тот уверял, что душа вылетает из чистилища, едва монета звякнет в ящике.²¹

Индульгенции не исчезли. Они сменили форму.

Сегодня это пожертвования телеевангелистам, которые обещают исцеление и процветание в обмен на перевод на карту.

Это «духовные практики» за несколько тысяч долларов, после которых участники выходят «просветлёнными» — до следующего курса.

Это корпоративные программы осознанности, которые учат сотрудников принимать стресс — вместо того чтобы убирать его причины.

Схема та же: заплати сейчас — получи покой потом.

И она процветает.

Только грехи никуда не делись.

Зависть, алчность, измена, жестокость, тщеславие — всё

²¹ М. Лютер, «95 тезисов» (1517), тезис 27. О тезисах, прибитых к двери Замковой церкви, известно из более позднего рассказа Ф. Меланхтона; историки до сих пор спорят, было ли это на самом деле.

на месте.

Просто теперь под новыми аватарками и в более дорогих костюмах.

Страх работает, пока страшно. Потом притупляется. Он не останавливает, если человек уверен, что «покаюсь — и спишут». Или если гнев, обида, месть оказываются сильнее любого посмертного бюджета. К тому же воздаяние обещают потом, а живёт человек сейчас.

Потому что в человеке заложено всё сразу: и добро, и зло, и тяга к разрушению, и способность любить, и странное удовольствие — делать «правильно», а потом всё равно свернуть не туда.

Не поломанная версия ангела и не недоделанный демон.
Смесь.

Сегодняшний ад, по-моему, обходится без огня.

Жизнь, прожитая «как правильно», по чужим правилам, с идеальным выражением лица — и пустотой внутри.

Джотто верил, что за всё воздастся.

Я не знаю.

Но жить так, будто воздастся только после смерти, мне не подходит. Я предпочитаю разобраться при жизни — чтобы не тратить её на чужие правила и прожить её, а не отбыть.

Да и религии не единственные, кто не справился с задачей «сделать человека лучше». Философия, этика, Разум,²² нау-

²² Эпоха Просвещения (XVII–XVIII вв.) провозгласила Разум высшим авторитетом взамен веры — почти новой религией. Предполагалось, что мыслить раци-

ка о человеке — все пробовали.

Круги, думаю, тоже из этого ряда. Человека лучше они не сделают — разве что меня чуть внимательнее.

Старые системы, при всей их красоте и глубине, делают одно особенно хорошо: держат человека виноватым.

А пока человек виноват — он всегда должен.

А тот, кто должен, — удобен.

Управляем.

Предсказуем.

И очень выгоден тем, у кого власть и деньги.

Хотя в самих традициях есть и другое: покаяние не как вечный долг, а как способ признать сделанное — и не объявлять себя безнадёжным. Только системе это выгодно куда меньше.

Может быть, новые смыслы рождаются не сверху, а потому, что многие перестают соглашаться жить по-старому. Без громких лозунгов. Просто из долгого, настойчивого запроса: «Хватит делать нас виноватыми. Давайте попробуем иначе».

Если этот запрос станет достаточно громким, может, и великие умы современности займутся тем, как уменьшить разрушение, — а не выяснением, чья версия Божьей воли правильнее.

Говоря о религиях, я не спорю ни с Богом, ни с верой.

Религию можно разделить с другими. Свой путь к Богу —

онально достаточно, чтобы стать лучше. Французская революция стала первым крупным испытанием этой идеи.

едва ли.

Да и Бог у каждого свой.

Сегодня он может выглядеть как маркетмейкер, которому менеджер молится за доходность облигаций.

Или как футбольный рефери, к которому обращается футболист «Барселоны», крестясь перед выходом на замену в el clásico, — уверенный, что Бог сегодня обязан болеть за каталонцев и организовать пенальти в ворота «Реала», в крайнем случае в добавленное время.

У атеистов тоже есть своё представление о Боге. Невозможно не верить, не обозначив, во что именно ты не веришь.

И у тебя своё представление о Боге.

И у меня — своё.

Поэтому прежде чем спорить о том, существует ли Бог, мне хочется спросить собеседника: о чём представлении мы говорим — о твоём или о моём?

Здесь — не о вере. А о системах, которые от имени Бога объясняют человеку, как ему жить, и слишком часто делают это через вину, долг и страх.

О поисках своего Бога расскажу отдельно — если решу рассказать. Это другая история. И другая книга — если напишу.

Но это потом.

А сейчас — возвращаюсь к тому, с чего начинал эту часть книги.

К словам, которые использую в ней.

И к тому, что за ними стоит.

...Но, уже собираясь поставить точку, я перечитал название этого Поля.

«...или о монетизации страха смерти».

Рассказал о Джотто, о рае и аде, об индульгенциях — о том, как этот страх продавали. Но так и не спросил, почему его так охотно покупают.

Возможно, потому, что механизм оказался настолько удачным, что его давно перестали замечать.

Страх смерти — едва ли не единственный страх, который невозможно проверить.

Никто ещё не вернулся с претензией:

— Простите, обещанное не соответствует описанию.

Практически идеальный продукт.

Себестоимость — минимальная.

Проверить качество невозможно.

Возврат исключён.

А спрос существует ровно столько, сколько существует человек.

Лучшей бизнес-модели придумать почти невозможно.

Только товар здесь — страх. Надежда человека, который верит, товаром не является. Товаром становится то, что из неё делают продавцы.

Меня больше заинтересовало другое. Если механизм работает тысячи лет, обязательно ли он единственный?

То, что идея тысячелетиями не меняется, ещё не значит,

что она лучшая.

Иногда это значит лишь, что никто не решался предложить другую.

И тут меня ждало небольшое разочарование.

Великим умам современности — тем самым, на которых я только что надеялся, — даже не придётся ничего придумывать.

Всё уже придумано.

Причём очень давно.

Эпикур почти две с половиной тысячи лет назад предложил простой довод: смерть не имеет к нам отношения — пока мы есть, её нет, а когда она пришла, нет нас.²³ Бояться того, чего никогда не испытаешь, — занятие странное.

Его последователь Лукреций добавил ещё один: до рождения нас не было целую вечность, и это никого не пугает. Почему же должна пугать вечность после?²⁴

Марк Твен ответил на этот вопрос по-своему: небытия он не боится, потому что уже пробовал его до рождения — сто миллионов лет. И за один час этой жизни намучился больше, чем за все те годы.²⁵

Не уверен, что это утешает в три часа ночи. Но здесь хотя

²³ Эпикур, «Письмо к Менекею».

²⁴ Лукреций, «О природе вещей», кн. III. Ялом разбирает этот «аргумент симметрии» во «Вглядываясь в солнце».

²⁵ Надиктовано около 1907 года, опубликовано в автобиографии Твена (изд. 1959).

бы никто ничего не продаёт.

А Ирвин Ялом, психотерапевт, который полжизни проговорил с людьми об их страхе смерти, добавил к этой линии свою мысль. Он назвал её волновым эффектом.²⁶

Я редко могу оценить, насколько далеко расходятся последствия моих поступков.

Одно решение меняет жизнь ребёнка.

Один разговор — жизнь друга.

Одна книга — взгляд совершенно незнакомого человека.

Волны продолжают расходиться уже без моего участия.

И, возможно, в этом и заключается единственная форма бессмертия, которую можно хотя бы наблюдать.

Не бесконечное существование моего сознания.

И уж точно не моего тела — вечность с коленями, которые уже к семидесяти ведут собственный дневник жалоб, вдохновляет немногих.

А волны.

Не обязательно помнить меня.

Достаточно, если останется то, что я успел передать.

Люди, которым смог помочь. Может быть, даже эта книга — если она кому-нибудь пригодится.

И деревья. Дерево, которое я посадил, будет давать тень ещё десятки лет — людям, которых я никогда не увижу.

Есть мысль, которую часто приписывают Тагору: тот, кто сажает деревья, зная, что никогда не отдохнёт в их тени, по

²⁶ И. Ялом, «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти» (2008).

крайней мере начал понимать смысл жизни. У Тагора её так никто и не нашёл. Зато очень близкие слова связывают с канадским фермером Нельсоном Хендерсоном.²⁷ А в Китае давно говорят проще: предки сажают деревья — потомки отдыхают в тени.

У меня была своя версия этой мысли — задолго до того, как я узнал про Тагора, настоящего или приписанного.

Я самоуверенно не раз повторял: смысл жизни начинаешь понимать, когда тебе, начальнику, приходится уволить лучшего друга. Или когда ты, капитан, высаживаешь на остров близкого человека.

Эти примеры я не придумал.

Мне пришлось сделать и то, и другое.

Оба раза я, кажется, поступил правильно.

Легче от этого не стало.

Смысла жизни я тогда не понял. Понял только, сколько стоит решение, за которое платишь не ты один.

К этим двум историям я ещё вернусь. Не за смыслом жизни. За тем, что было дальше.

Потом я начал сажать деревья.

И теперь жду, когда пойму смысл жизни. Или хотя бы начну понимать — как обещает то ли Тагор, то ли канадский фермер.

Деревья растут неторопливо. Смысл, судя по всему, тоже.

²⁷ В текстах Р. Тагора эта фраза не обнаружена; её авторство остаётся под вопросом.

Это ведь тоже волны. Просто медленные.

И в них, может быть, и есть ответ на страх, с которого начиналось это Поле. Рай на потом обещают мне. А тень на потом я оставляю другим.

Спорить с религией я здесь не собираюсь. Просто это другой способ обойтись с тем же страхом.

Я не знаю, существует ли рай потом.

Но почти уверен, что бывает рай сейчас.

Несколько часов, когда мне спокойно внутри. Когда я не живу в долг перед прошлым. Не покупаю надежду на будущее. Не торгуюсь со смертью.

Просто живу.

Обезьяне банан нужен сейчас.

Похоже, мне тоже.

Вот теперь — действительно к словам.

Глава 3

О перемещении связей и выходе из них

«Иногда нужно отпустить человека.

А иногда — только своё представление о нём».

— автор неизвестен

«Кто в молодости не был революционером — у того нет сердца;

кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума».

— автор неизвестен, часто приписывается Уинстону Чер-

Говоря о «перемещении», «выходе» или «разрыве» связи, я не имею в виду театральные сцены.

Не «всё, мы больше не общаемся» и не хлопки дверью, от которых дрожит штукатурка.

Речь о другом — о внутренней смене статуса связи.

Иногда это приводит к действиям: дистанции, отказу от общения, выходу из контакта.

Но чаще всё происходит без слов: я перестаю считать эту связь важной, перестаю кормить её вниманием и перестаю позволять ей влиять на моё настроение, решения и самоощущение.

Потом жизнь может всё переиграть. Можно сблизиться снова, переосмыслить, увидеть иначе.

Но пока этого не случилось — я сознательно уменьшаю её вес.

Особенно там, где контакт вроде бы закончился, а влияние — нет.

Можно не общаться годами — но человек всё ещё занимает место внутри: в мыслях, в воспоминаниях, в автоматических реакциях.

²⁸ Фраза много раз переформулировалась: «либерал/консерватор», «революционер/консерватор», «молодость/зрелость». Её приписывали Жоржу Клемансо, Бенджамину Дизраэли, Уинстону Черчиллю. Исследователи цитат, однако, не нашли документальных подтверждений, что кто-либо из них её произносил. Самый ранний найденный вариант — французский, 1875 года; там мысль приписана Эдмунду Бёрку.

Разрыв произошёл снаружи — но завис внутри. Как незакрытая вкладка, которая тихо ест батарейку.

Поэтому мне важно различать не только факт общения, но и внутренний вес связи.

Переместить — значит сдвинуть фокус: из важного в неважное.

Выйти — значит отпустить окончательно: не спорить внутри, не доказывать, не ждать, не надеяться, не прокручивать.

Я не всегда могу оборвать контакт внешне.

Но почти всегда могу изменить то, как его переживаю.

И именно в этот момент включаются тормоза.

Не потому, что я делаю что-то запрещённое, а потому что слишком много установок твердят: нельзя.

Меня могут не понять. Могут осудить. Могут объяснить, почему я неправ.

И тогда возникает вопрос, который я не могу обойти: а свободен ли я — когда дело доходит до реального решения?

Формально — да. Никто меня не держит, не запрещает, не угрожает.

Но стоит мне внутренне переместить связь или выйти из неё, как поднимается целый хор голосов: так нельзя, ты не имеешь права, ты обязан, ты неправ.

Иногда эти голоса мои собственные.

Иногда — чужие: близких, родных, коллег, друзей.

Чаще всего — уже неразличимые.

Если я свободен, почему любая попытка что-то изменить вызывает столько внутреннего сопротивления?

Похоже, ответ не про конкретного человека и не про конкретную связь. Он про свободу — ту самую, о которой принято говорить громко, но редко проверять на практике.

И не только про выход из связи. То же сопротивление поднимается всякий раз, когда кто-то не согласен с моим взглядом.

Самый привычный случай — спор.

Большинство моих споров, если описать их без украшений, звучат так:

«Я не принимаю твои взгляды, идеи и ценности. И хочу, чтобы ты принял мои».

Я защищаю своё — иногда даже понимая, насколько оно несовершенно.

Почему?

Потому что страшно остаться без убеждений. Оказаться лицом к лицу с пустотой, в которой придётся думать заново.

Ещё страшнее вопрос: «А вдруг он прав — и я десять лет жил ерундой?»

Но чаще всего — просто лень и нехватка времени. Любое «расскажи подробнее, мне интересно» быстро заменяется на «не морочь мне голову».

Как часто я в ответ на несогласие говорю: «Хм. Может, в этом что-то есть. Расскажи подробнее»?

Почти никогда.

Зато охотно бросаюсь разрушать чужое — и тем самым укрепляю своё.

Соцсети в этом прекрасные помощники. Если я уверен, что Земля плоская, а собеседник со мной не согласен, там найдутся миллионы людей, которые со ссылками на «научные исследования» поддержат плоскость не только планеты, но и моего собственного мозга.

Если спор не кончается, он становится конфликтом.

Его формула без украшений:

«Я не хочу жить по твоим правилам. Я свободный человек. И поэтому хочу, чтобы ты жил по моим».

Свобода как дубинка очень удобна.

Ею можно оправдать любое давление, любое требование, любое вторжение. Объявить себя независимым — и тут же начать отбирать независимость у другого.

Иногда мне кажется, что в конфликте борются не за правду, а за право быть диктатором в радиусе собственного комфорта.

Дальше — та же логика, разогнанная до предела. Революция.

На лозунгах — свобода, равенство, достоинство.

Без украшений формула выглядит так:

«Мы не хотим жить так, как вы нам организовали. Мы хотим убить некоторых из вас, остальных напугать, занять ваше место — и устроить жизнь всех по нашим правилам».

И почти всегда повторяется одно и то же: те, кто кричал

о свободе, через год становятся новыми душителями той самой свободы, которой исписали стены и баррикады.

Свобода в революциях выцветает быстрее, чем краска на транспарантах.

Есть и ещё одна ступень. Не выше и не ниже — просто сбоку.

Война.

Она не продолжение революции и не новый вид конфликта. Это момент, когда спор стал слишком широким, конфликт — слишком долгим, а революция — слишком узкой, чтобы вместить обе стороны.

Война начинается там, где заканчиваются слова и даже лозунги уже не помогают. Где никто не хочет быть свободным — каждый хочет, чтобы другой исчез.

Революция говорит: «Мы будем жить по нашим новым правилам».

Война добавляет: «...а вы не будете жить вообще».

Борьба за свободу здесь кончается. Начинается отказ от неё — полный и окончательный. Потому что свобода всегда предполагает другого, а война требует его отсутствия.

Историки объясняют войны политикой, экономикой, географией. Я вижу в них одну и ту же человеческую формулу: когда страх изменения становится сильнее страха разрушения, люди выбирают разрушение. А потом долго объясняют это словом «неизбежно».

Ты спросишь: при чём здесь революции и войны, если

книга про личные связи?

При том, что логика одна. Спор, конфликт, революция, война — не разные явления, а одна и та же требовательность к другому: «живи по-моему». Разница — в масштабе и в доступных средствах.

Увидеть это в себе — шанс остановиться раньше, чем дело дойдёт до баррикад.

Хотя, скорее всего, я просто увлёкся и забрёл в чужой огород.

Со свободой вообще всё странно.

Каждый требует её для себя, но почти никто — для другого. Даже если она написана на флаге.

И чем громче человек говорит о свободе, тем чаще имеет в виду одну — свою.

Когда я слышу это слово, мне хочется уточнить: «Для всех — или только для тебя?»

Самые жестокие революции, думаю, происходят внутри.

Там нет амнистии, нет парламентов, нет комиссий по примирению.

Там нет чужих.

Проигравший — тоже я.

Где же тогда живёт свобода?

Свобода без ответственности — подростковый бунт, который рано или поздно превращается в хаос.

Ответственность без свободы — тюрьма.²⁹

²⁹ Когда на человека навешивают обязанности, ожидания, долги и нормы, но

А жизнь происходит где-то между. Там, где нужно не побеждать и не перевоспитывать, а договариваться, отступить, слушать — не разрушая.

И, может быть, свобода — это не право ломать чужое.

А обязанность не уничтожать своё.

После разговоров о свободе кажется, что дальше будет проще. Будто самое трудное — спорить с обществом, системой, идеологией.

На практике всё наоборот.

Свобода почти никогда не заканчивается выбором.

Она начинается с объяснений.

Свобода требует слов. Обоснований. Признаний.

И очень быстро превращается в просьбу: «Скажи честно».

Поле IV

Скажи честно

*«Не звони. Ты ещё не заслужил блокировки,
но и терпение к тебе временно на нуле.*

*Я появлюсь сам, когда смогу переносить
тебя без побочных эффектов».*

— правдоруб

Стоит мне изменить дистанцию, выйти из связи или просто замолчать — почти всегда возникает один и тот же запрос: «Скажи честно».

не дают права выбирать, это и есть тюрьма — не обязательно физическая: психологическая, социальная, семейная. Содержать семью — но не решать, как жить. Быть примерным сыном или дочерью — но не иметь права на собственную жизнь. Работать и терпеть — но не сметь сказать «нет».

Он звучит как приглашение к разговору, но чаще оказывается требованием: «сними с себя кожу — чтобы мне стало спокойнее».

Здесь разговор о свободе незаметно превращается в разговор о контроле.

Сколько раз я слышал фразы вроде:

«Я никогда не вру».

«Я больше не вру».

«Я стараюсь не врать».

Чаще всего их произносят люди, которых только что поймали с поличным.

И, что странно, я почти никогда не верил этим словам — думаю, не верили в них и сами говорящие.

Это не обещание. Это заклинание.

Попытка срочно восстановить образ — прежде всего в собственных глазах.

Когда человек говорит «я не вру», он редко сообщает факт.

Он скорее пытается сказать: «Я хороший. Я правильный. Не вычёркивай меня из круга приличных».

Особенно остро это слышно в момент разоблачения.

Ложь уже вскрылась, доверие треснуло — и тут же появляется не разговор о причинах, не попытка понять, почему соврал, а клятва в абстрактной честности.

Как будто проблема не в поступке, а в том, что репутация дала течь.

Хотя один мой друг нашёл для этого самое честное объяснение из всех, что я слышал.

«Я не вру, — сказал он, — просто у меня плохая память. Проще говорить правду, чем потом вести учёт, кому что наврал».

Возможно, это и есть единственная надёжная система честности — не из принципа, а из неспособности администрировать ложь.

Вопрос не столько во вранье, сколько в том, зачем человек врёт — и чего он боится.

А следом — то, от чего я давно уворачивался: всегда ли правда вообще должна быть произнесена — и всегда ли тот, кто её требует, готов с ней жить?

Ответ пришёл оттуда, откуда не ждал.

Из одного разговора с дочерью.³⁰

Я тогда сказал что-то очень правильное и очень взрослое. Примерно так:

«Ты можешь сказать мне всё.

Я пойму и приму что угодно — только не враньё».

Через некоторое время я получил от неё сообщение.

Не дословно, но по смыслу — так:

«Пап, ты взрослый человек, а я подросток.

Разве ты не понимаешь, как мне тяжело раскрываться перед родителями?

Даже если я знаю, что ты поймёшь и примешь — мне всё

³⁰ Разговор пересказан с разрешения дочери.

равно страшно».

Тогда до меня дошло то, чего я не хотел видеть.

Я требовал не правды — я требовал храбрости.

Не своей, а её.

Я говорил о честности, но на самом деле просил человека без опыта, без защиты, без внутренней опоры — выйти под прожектор и не дрожать.

Я не учитывал цену этой правды для неё.

И не задал себе вопрос, готов ли я сам заплатить эту цену — вместе с ней.

Правда — не только моральная категория, но и нагрузка.

Тот разговор просто не дал мне сделать вид, что я этого не знаю.

Прежде чем требовать правды от другого, мне стоит спросить себя: готов ли он её выдержать?

Готов ли я остаться с последствиями?

И, главное, не прячу ли я за словом «честность» собственное желание всё контролировать?

И ещё кое-что неприятное: я слишком легко пользовался словом «честность», как будто оно само по себе всё объясняет.

Как будто достаточно его произнести — и дальше уже не нужно разбираться ни в контексте, ни в уязвимости другого, ни в цене сказанного.

Самые жёсткие требования правды я чаще всего предъявлял не тогда, когда был готов к разговору, а тогда, когда мне

самому было тревожно.

Когда хотелось ясности любой ценой.

Даже если эту цену заплатит кто-то другой.

И тогда правда перестаёт быть способом понимания — она становится инструментом давления.

Или, хуже того, способом снять с себя ответственность: «Я просто сказал, как есть».

После того разговора мне уже не так легко прятаться за привычные формулы — ни за честность, ни за правду, ни за «так правильно».

Они слишком удобны, чтобы быть точными.

Стало важнее другое: что я делаю, когда говорю или не говорю правду.

И зачем.

Честность — слово, которое чаще всего встречалось на страницах черновиков этой книги. Но чем дальше я писал, тем меньше понимал, что под ним имею в виду.

Честность — это правдивость?

А правдивость — это правда?

Честность часто называют правдивостью — или путают с ней.

Правдивость — с правдой.

А правду — с тем, что следует говорить всегда и при любых обстоятельствах.

Эта цепочка выглядит логичной, пока не начинаешь проверять её жизнью.

Меня с детства учили говорить правду.

Красиво звучит, удобно работает.

Честность — как универсальная отвёртка: подходит ко всему, всегда правильно, никогда не ошибёшься.

И главное — удобно взрослым: ребёнок, который честно выдаёт всё, что чувствует, делает и боится, — это ребёнок под полным контролем.

Но человек вырастает, а установка остаётся — как невыключенный фонарь, который слепит глаза.

Проблема в том, что правда — не лекарство.

И далеко не всегда добродетель.

Иногда правда — это удавка.

Иногда — тупой молоток, которым ты случайно разбиваешь то, что человек держит из последних сил.

Есть пример, о котором не любят говорить: правда смертельно больному человеку.

Кому-то она нужна — чтобы успеть попрощаться, договорить, распорядиться.

А кому-то нужна опора, а не моя философская чистота. Иногда надежда — не ложь, а единственный способ продержаться.

И тогда правда может оказаться садизмом, переодетым в принцип.

Вот что я для себя разграничил: неправда — это не всегда ложь.

Ложь — это неправда ради своей выгоды или контроля.

Чаще всего — инструмент манипуляции.

А неправда иногда — просто способ не разрушить. Или защитить.

Есть неправда, которая защищает слабого.

Есть неправда, которая даёт человеку дожить до утра.

И есть правда, которая ломает быстрее, чем болезнь или страх.

Этому не учат: честность без контекста легко превращается в инфантильность.

Есть люди, которым нельзя говорить правду — потому что они используют её как оружие.

Есть моменты, когда правда разрушает не того, кому я её говорю, а меня.

Есть ситуации, когда говорить правду — значит подставляться под удар.

И в этом нет ни смелости, ни духовности. Только глупость.

И всё же, может ли кто-то сказать, как правильно?

Не думаю.

Я сам не знаю.

Даже для себя.

Я видел, как правдой можно спасать, и как правдой можно калечить.

Я видел, как ложь ломала людей, и как ложь помогала им прожить ещё один день, который потом оказался решающим.

Поэтому всё, что я сумел для себя собрать, — очень зыбкое правило, которое держится на честности перед самим со-

бой, а не перед миром.

Когда речь идёт о правде или неправде, я выбираю не слова, а мотивацию.³¹

Особенно тогда, когда речь идёт о дистанции, границах и праве не продолжать связь.

Я выбираю не формулировку, не принцип, не «как правильно», а зачем я это делаю.

Да, это скользкая конструкция.

Да, за ней можно спрятать самооправдание.

Да, всегда можно сказать: «я хотел как лучше».

Но если откинуть все уловки, остаётся простой внутренний тест.

Если моё искреннее желание — помочь другому, а не спасти собственный образ или облегчить себе дискомфорт, я могу сказать и неправду — если вижу, что правда сейчас ему не под силу.

Только выбор редко стоит между жестокой правдой и милосердной неправдой. Можно не торопиться. Говорить по частям. Спросить, сколько человек хочет знать.

И помнить: решая, что правда ему не под силу, я решаю за него. Право знать — его, а не моё.

А если неправда нужна только мне — чтобы оградить се-

³¹ Много позже, обсуждая главу «Как будто выбор есть» с буддийским ламой (об этом разговоре — в главе «А вдруг я не прав?»), я подумал, что слово «намерение», возможно, точнее отражает то, что я всю жизнь называл мотивацией. Но здесь переписывать не буду. Может, намерение точнее. Может, мотивация честнее. Пусть каждый выберет своё слово — главное, чтобы оно не врало.

бя, не влезать в чужую боль, — тогда я постараюсь не лгать.

Лучше промолчу.

Не защищаясь, не оправдываясь.

Молчание — тоже выбор.

Иногда самый честный из возможных.

И тогда, как бы меня ни судили за результат — который, да, не всегда совпадает с моими желаниями, — я знаю, что буду отвечать.

Буду отвечать себе.

Правил тут нет.

Только моя попытка жить так, чтобы не разрушать других и не предавать себя.

Это не делает меня идеальным.

Но делает честным — в единственном месте, где эта честность имеет смысл.

Внутри.

Каждый решит сам.

И будет жить с тем, что выбрал.

Всё это — про внутренний выбор.

Но есть место, где он становится почти невозможным.

Больше всего «честности» требуют там, где больше всего близости.

Не на митингах.

Не в спорах с системой.

А в семье.

В семье просьба «скажи честно» чаще всего означает:

«останься», «не уходи», «не меняйся», «не выбирай себя».

Поэтому разговор о правде неизбежно приводит к следующему вопросу: что делать со свободой там, где выбирать не принято?

Глава 4

«Семья» как вызов

«Самое тёплое про семейные связи говорят те, кто живёт в другой стране».

— В. Банков

Меньше всего выбирать принято там, где многое решили ещё до моего рождения. В семье.

«Семья — это святое». Эту фразу я слышу с детства. Она звучит сразу как истина, как правило и как приговор. И если внутри при этих словах что-то сжимается, а следом поднимается «ну нет, как же иначе», — добро пожаловать. Об этом и пойдёт речь.

Если прислушаться, за «святым» часто прячутся вина, давление, страх «предать своих». А главное — молчание. Особенно когда больно делают свои.

Я тоже считаю, что семья — это святое. Это корни, из которых я вырос. Но святое не значит безоблачное. Всегда ли родные понимают друг друга? Всегда ли принимают такими, какие есть? Бывает ли, что в минуту, когда нужно просто тепло, слышишь «сам виноват» или «а я тебе говорил»? Думаю, у многих найдётся своя версия этой сцены. У меня тоже.

Я не раз слышал — в разговорах, в переписке, в случайных откровениях — примерно такое:

— У меня токсичная мать. Она постоянно меня унижает. Что делать?

Или:

— Я больше не могу тащить родственников, которые меня не любят. Можно просто уйти — без драм?

Все эти вопросы об одном: формула «семья — это главное» не так однозначна, как звучит.

Но речь не о разрывах. Даже в крайних случаях разрыв для меня — не цель, а последний выход. Меня интересует другое: можно ли остаться рядом с родными и при этом не исчезнуть самому. Где заканчивается забота и начинается контроль. Где любовь, а где манипуляция, которая прикрывается её именем.

Быть рядом не значит жертвовать собой. О любви я ещё скажу отдельно. Пока одно: она не обязана быть безграничной терпимостью. Но без уважения это уже не она.

Особый случай — родители, которые дистанцию не принимают: вместо «давай завтра» — «ты нас совсем забыл».

О моих — отдельный разговор. Когда соберусь.

Когда я говорю «семья», я имею в виду немногих. Не бесконечную цепь предков.

Хотя цепь эта у меня есть: я составил своё генеалогическое древо. Восемь поколений, больше пятисот человек — и где-то там те самые Банковы, что переправлялись через Ду-

най. Может быть, во мне и сила, и боль, и незавершённые дела этих жизней. Но что с этим делать, я не знаю. Поэтому в этой книге не будет разговоров о «Роде», которыми пестрят эзотерические форумы. Я буду говорить о связях с теми, кто рядом сейчас, а не о мистических системах.

Семья — это важно. Только в ней, если пересчитать, есть и я. И у меня тоже есть право быть с родными в мире, не предавая себя и свою меру близости.

В жизни, правда, семейные разговоры редко похожи на диалог взрослых людей, которые уважают границы друг друга. Чаще — на набор штампов, ролей и странных ритуалов, которые повторяются из года в год, даже когда все понимают их абсурдность.

Есть и другие ритуалы — те, что держат: собраться в день рождения того, кого уже нет; позвонить в один и тот же день, даже когда не о чем говорить. О них спорить не приходится.

А я остановлюсь на первых. Не на боли — а на формах, в которых её обычно подают.

Поле V

О семье

«Настоящая семья — это твои кошка и собака.

Они не требуют оправдываться, не читают моралей и не держат счёт твоим ошибкам.

*При этом напоминают каждый день,
что ты им что-то должен».*

— древний мудрец, у которого остались только кошка и

собака

В разных культурах слово «семья» означает настолько разное, что каждый уверен — именно у наших всё устроено правильно.

А на остальных смотрит как на людей, которые *#I#что-то делают не так#/I#*.

Если бы всех собрать за один стол — мало бы не показалось никому.

Итальянский кузен соседа уверял бы, что он тебе ближе родного брата.

Японский начальник требовал бы место рядом с женой.

Американский сын в это время паковал бы чемодан, чтобы не опоздать на самолёт.

В Италии семья — это не только родители и дети, но и дяди, тёти, соседи, кумовья и друг детства, которого не видели двадцать лет.

Пятьдесят человек за одним столом — и всё это *#I#la famiglia#/I#*.

Причём тот самый кузен соседа ещё и будет этим гордиться.

В Японии семья легко подменяется корпорацией.

Человек проводит с коллегами больше времени, чем с детьми.

И обвинение в том, что он «предал семью», нередко относится не к дому, а к фирме — той самой, ради которой

перерабатывают до кароси³².

Начальник звонит чаще, чем жена, — и оба считают это нормальным.

В ряде традиционных африканских обществ ребёнок принадлежит не родителям, а деревне.

Любая женщина может его накормить, одёрнуть или наказать — и никто не видит в этом вторжения.

С нашей точки зрения это выглядело бы как коллективная опека, где вчера твоего ребёнка воспитывали шестнадцать человек — и все уверены, что сделали это правильно.

В одном из распространённых американских представлений семья понимается максимально узко: «мой дом, мой ребёнок, моя собака».

Но в восемнадцать лет ребёнку спокойно говорят: «Собери вещи, колледж через три тысячи километров, теперь ты самостоятельный».

Итальянец сказал бы, что на этом семья закончилась.

Всё это, конечно, карикатуры — из тех, что рисуют туристы. Изнутри я знаю только одну.

В постсоветской традиции семья одновременно святыня и поле боя.

Здесь легко услышать: «семья — это главное», и через пять минут — «давай вспомним, кто кому должен с 1987-

³² Кароси (яп. ###) — смерть от переутомления: инфаркт, инсульт или самоубийство после многих лет переработки. В Японии это понятие признано официально.

го».

Праздничный стол иногда превращается в трибунал, иногда — в драку, а «главное» становится заложником многолетних претензий.

Утром — огуречный рассол, дежурное «прости, брат» — и всё по новой.

Выходит, что «семья» — не универсальная истина, а местный обычай.

Где-то это тёплый круг.

Где-то — корпорация.

Где-то — огромный род.

А где-то — дом, кошка и собака, как у того древнего мудреца.

Проблемы начинаются там, где мне пытаются внушить, что все эти разные модели почему-то обязаны работать одинаково.

А раз семья — местный обычай, стоит пересчитать и то, что я в неё вкладываю.

Не в деньгах.

Глава 5

«Вложение» в отношения — не инвестиция

Инвестировать в отношения, чтобы потом «вернулось»

это как покупать человеку кофе, чтобы через год попасть в список гостей на его свадьбе.

С припиской «без плюс один» и столом у колонки,

рядом с бывшей учительницей по химии.

Я ещё не раз использую слово «вложение», говоря о людях и связях.

Но я сознательно не имею в виду инвестицию.

Я не жду прибыли.

Не рассчитываю на возврат.

Не веду внутренний реестр: кому сколько отдал и кто сколько должен.

Когда я говорю «вложение», я имею в виду совсем простое.

Иду навстречу.

Становлюсь рядом.

Делаю себя доступным — не по обязанности.

Для меня «вложение» складывается из нескольких вещей.

Внимание к тем, кто мне важен.

Время, которое я им отдаю.

Поддержка — когда мне хочется её дать.

А иногда и когда не хочется. Это тоже долг — только взятый мной самим, а не навязанный.

И открытость — не потому, что «так надо», а по собственной воле.

Я не измеряю отношения в категориях выгоды — по крайней мере, стараюсь этого не делать.

Но есть другой вопрос, который не отпускает: куда уходят мои силы — и что от меня остаётся после разговора?

Когда я думаю, что делюсь вниманием, остаётся ли после

этого ясность — или только ощущение, что меня стало меньше?

Бухгалтерии я тут не веду. Скорее, учусь замечать то, что раньше просто терпел — или надеялся, что само как-нибудь рассосётся.

Порой думаю: как бы я жил, если бы вообще не ждал возврата?

Если бы позволил каждому вложению быть просто жестом — а не попыткой восполнить внутреннюю пустоту?

Тогда вложения стали бы свободными.

Я не уверен, что способен так жить прямо сейчас.

Особенно если внутри есть боль или нехватка.

Скорее всего — нет. Хотя в начале главы довольно уверенно написал, что возврата не жду.

Но хочу хотя бы видеть, куда иду.

Туда, где вложение перестаёт быть попыткой удержать и становится присутствием.

Кто-то назвал бы это любовью.

Я пока воздержусь — у меня с этим словом сложные отношения.

Глава 6

Почему я думал, что буду избегать слова «любовь»

*«Общезвестно, что любовь — понятие эластичное,
простирающееся от небес до преисподней
и объединяющее в себе добро и зло,
высокое и низкое».*

— Карл Густав Юнг, «О психологии бессознательного»

Слово «любовь» — одно из самых привычных и одновременно самых неопределённых, многозначных и субъективных понятий, с которыми мне вообще приходилось иметь дело.

Я повторяю его, не задумываясь, — как и все.

Употребляю в бесконечно разных контекстах — от романтических признаний до разговоров о еде, домашних животных, родине, детях, Боге и футбольном клубе.

У разных культур, эпох, религий — и даже у отдельных людей — совершенно разные определения, и я каждый раз спотыкаюсь об это различие.

Это слово стало универсальной валютой чувств.

Но при этом — абсолютно нестабильной, размытой, подверженной девальвации или переоценке в зависимости от личного опыта.

Кто-то видит в любви страсть.

Кто-то — тишину и принятие.

Кто-то — жертву.

Кто-то — свободу.

В философии её делят на эрос, филию, сторге и агапе.

В психологии — на привязанность, влечение, зависимость, симпатию.

В литературе — на боль, одержимость, вдохновение, спасение.

Кого-то она лечит, кого-то — разрушает.

Ни одно из этих объяснений не попадает точно.

Думаю, проблема не только в слове «любовь».

Любое чувство невозможно точно описать словами.

Меня, например, всегда ставит в тупик вопрос врача:

— Оцените боль по шкале от одного до десяти.

Я понимаю, что это полезный медицинский инструмент.

Но всякий раз мне хочется сначала уточнить условия задачи.

Десять — это как? Уже невыносимо или ещё есть силы сообщить врачу, что это десять? Это боль перед последним вздохом — или после последнего вздоха шкала уже не действует?

Ноль, допустим, — ничего не болит. А единица? Я знаю, что у меня есть тело? Двойка — тело начинает подавать признаки недовольства? Чем тройка отличается от четвёрки? А семь от восьми? На семи я ещё рассуждаю о несовершенстве этой шкалы, а на восьми уже не до неё?

В итоге я называю какое-нибудь число и сразу чувствую, что соврал. Не врачу — языку.

Но если мы не можем договориться даже о боли — чувстве довольно настойчивом и обычно хорошо локализованном, — какие шансы у нас договориться о любви?

Может ли мать точно описать, как она любит каждого из своих детей? Не сильнее или слабее, а именно по-разному. Можно ли одну любовь измерить другой? Сказать: здесь восемь единиц нежности, шесть тревоги и две с половиной гордости? А если можно любить детей по-разному, оставаясь

при этом их матерью, то что говорить о любви к Богу, родине, человеку, которого желаешь, человеку, о котором забота, или человеку, которого давно потерял?

Мы произносим одно и то же слово, но каждый раз указываем им на разные внутренние переживания. Нам кажется, что мы говорим об одном, потому что звуки совпадают. Но само чувство остаётся внутри — без шкалы, единицы измерения и возможности передать его другому для проверки.



Бордо, Водное зеркало. 2007.

Отражение любви — ещё не любовь.

Поэтому люди, вероятно, никогда окончательно не дого-

воятся о том, что означает слово «любовь». Не потому, что кто-то из них понимает её неправильно. А потому, что каждый пытается описать словами то, что сначала нужно прожить — причём прожить можно только изнутри.

Биохимия сводит всё к дофамину, окситоцину и серотонину. Их можно измерить, и они многое объясняют — но мне не очень помогают.

Когда я думаю о любви, мне трудно воспринимать её только как результат работы гормональной системы.

Мне легче узнавать её по косвенным признакам: через заботу, через спокойствие рядом, через устремлённость к другому, через страх потерять, через способность быть рядом, слышать и не исчезать.

Если всё это есть в тексте книги, то там есть и то, что я пока называю любовью.

Следующие строки были написаны в самом первом черновике этой главы.

#И#Называть любовь прямо — задача, от которой я осознанно отказываюсь.#И#

#И#Поэтому — несмотря на то, что пространство этой книги глубоко пронизано тем, что традиционно связывают с любовью — я пока не хочу использовать это слово напрямую.#И#

#И#Не из снобизма или из холодности, а из осторожности к словам.#И#

#И#Когда книга будет дописана, я хотел бы вернуться к

этой теме. #/I#

#I#Но не для того, чтобы определить любовь. И не чтобы заключить её в форму. #/I#

#I#А чтобы честно спросить себя: что она значит для меня. #/I#

Но слово не дало себя избежать.

Поэтому дальше — не определение и не выводы, а записки на Поле о любви.

Поле VI

Любовь или культурные декорации

В европейской культуре любовь долго привыкали рисовать как нечто «высокое» и одновременно «страдательное».

В одном углу — возвышенные речи про вечную красоту и идею, в другом — романтическая мука, которая будто бы и есть признак подлинности: не болит — значит, не любовь.

Один устойчивый миф стоит развеять сразу — он давно живёт своей жизнью и расходится с текстом пьесы.

Ромео и Джульетта не росли вместе и не были знакомы заранее. Они встречаются впервые на балу у Капулетти, а вся история — от первого взгляда до общей гробницы — укладывается примерно в четыре–пять дней.

Меньше недели. Не годы. Не детство. Не «они давно всё чувствовали». Меньше недели — от поцелуя до смерти.

У меня к Шекспиру давняя претензия.

Вильям, конечно, гений. И я понимаю, что «Ромео и Джульетта» — это не документ о несчастной любви, а искусно

сконструированная трагедия.

Но если убрать театральный свет и драматургические обязательства, эта история могла бы кончиться не гробницей, а жизнью.

Шекспир выбрал эффект: два подростка, едва успевшие познакомиться, решают умереть, потому что так красивее.

И этот драматургически эффектный финал почему-то превратился в символ «великой любви».

Великая — где?

Любви — какой?

Это просто талантливо написанная катастрофа, которую по ошибке выдали за инструкцию по чувствам.

Мне кажется, что с тех пор подростков поколениями снабжают красивой рекламой смерти: балкон как романтический трамплин вниз, саморазрушение — как способ доказать чувство.

Мол, если не готов умереть — значит, любишь как-то «не по-настоящему».

Саму пьесу я при этом ценю. Не люблю, когда её принимают за руководство к действию.

Да простит меня Шекспир, но живи он сегодня со своим талантом, работал бы сценаристом стриминговых хитов: чем больше трупов — тем выше рейтинги.

Потому что никто не снимет сериал «Ромео и Джульетта: супружеские будни. Сезон 2», где через три месяца после свадьбы Ромео флиртует в пабе, Джульетта злится, что он

снова забыл купить хлеб, а главная драма — кто моет посуду.

Это слишком тихо для сцены и слишком правдиво для мифа. Но именно в этой «тихости» и живёт то, ради чего всё затевается: не умирать красиво, а жить — не всегда красиво, зато честно и долго.

Чтобы понять, насколько этот миф — всего лишь миф, достаточно выглянуть за пределы привычного театра.

Представь, что чукчи или австралийские аранда всерьёз приняли бы шекспировский сценарий.³³³⁴

У чукчей брак встроен в систему взаимопомощи стойбища; у аранда — в сложную систему родовых связей, где личная страсть подчинена правилам выживания клана.

Если бы они решили жить «по Вероне», половина стойбища вымирала бы каждую весну от несчастной любви.

Но скорее всего, они переглянулись бы и сказали: «Странные у этих европейцев традиции: мясом делиться не научились, зато умирать от любви — мастерски».

То есть любовь — не единая «вечная истина», а набор

³³ У чукчей существовала форма брака, которую исследователи называют «гостевой». Муж и жена могли жить в разных стойбищах, вести разное хозяйство и встречаться по договорённости. Такой союз не считался неполноценным: он соответствовал кочевому образу жизни и не требовал постоянного совместного проживания. В пересказе.

³⁴ У австралийских аранда брачные отношения были частью системы родства и обычаев. Муж и жена могли быть формально связаны, но их жизнь не сводилась к постоянному совместному быту и эмоциональной исключительности. Личное чувство не считалось главным основанием союза, а любовь не обязательно предполагала страдание или «слияние» двух людей в одну судьбу. В пересказе.

культурных декораций.

В одних местах важнее гармония общины, в других — ритуал очищения, в третьих — обет жертвенности, в четвёртых — свобода от притязаний.

Я и сам, выросший на балконной сцене, не раз приносил в свои отношения лишнюю театральность: играл в драму там, где можно было просто жить.

Ждал предательства, где его нет.

Подменял спокойную близость постоянной проверкой чувств «на глубину».

Включал высокую трагедию, хотя ситуация просила обычного юмора, сна и тарелки супа.

Но любовь вполне может быть другой: не душераздирающим спектаклем, а чем-то простым и тёплым.

Это утренний чай, который поставили, хотя ты не просил; смех над общей глупостью; рука, которую протянули не из героизма, а потому что так привычно; способность не дуться дольше десяти минут; право сказать «нет» и не быть наказанным за честность.

Такая любовь не требует ни крови, ни аплодисментов — зато почему-то с ней легче дышится.

Я не романтизирую быт — в нём достаточно мест, где всё рвётся по швам.

Настоящая драма в любви живёт не на балконах Вероны: она у раковины с немытой посудой, в счёте за ипотеку, в чужих привычках, которые бесят до скрежета, но не отменяют

«я рядом».

Великая любовь — это не способность красиво умереть; это способность выдержать жизнь вместе.

Выдержать — не значит терпеть всё.

Это означает уметь возвращаться друг к другу после глупостей, злости, размолвок; уметь не превращать каждую мелочь в финальный акт; уметь смеяться над собой вовремя.

Если бы мне снова было пятнадцать, я бы хотел, чтобы меня учили юмору, бережности и границам, а не искусству падать с балкона.

Я тоже мечтал о трагической страсти: сорвать занавес, сломать судьбу, прыгнуть в бездну.

Теперь мои запросы проще и, кажется, честнее: чтобы утром на кухне кто-то молча поставил кофе; чтобы вечером можно было ссориться без угроз «всё кончено»; чтобы моё «нет» не считалось изменой; чтобы меня любили не за роль, а за голос — тихий, не театральный.

И чтобы в момент, когда хочется «включить Шекспира», мы включали свет на кухне и спрашивали друг друга: «Ты устал, на работе проблемы? Ты голоден? Ты меня сейчас слышишь?»

У мифов есть сила — они собирают людей в общину.

Но есть и цена — они подменяют собственный голос чужим.

С любовью это особенно заметно.

Выбор предлагается небогатый: или умереть красиво, или

стыдиться «маленькой» нежности, потому что она недостойна большой сцены.

Я предпочитаю третий путь: выбирать ту версию, в которой хочется жить.

В моём спектакле аплодисменты не нужны. Нужна чашка кофе утром, смех вечером и свобода не играть трагедию, когда жизнь просит комедии характеров.

А если кому-то очень хочется высокой драмы — пожалуйста, театр открыт. Там сегодня как раз премьера новой постановки «Анна Каренина».

Ещё один пример того, как великую любовь заботливо упаковали под поезд. Чтобы снова и снова напоминать зрителям: страсть должна быть выше семьи, детей, обязанностей и здравого смысла.

Что счастье — это не жизнь, прожитая вместе, а красиво организованная катастрофа под занавес.

Толстой, кстати, сам так не думал — рядом с Анной у него Левин и Кити. Но спектакли почему-то ставят про поезд.

Когда смотришь на такие сюжеты один за другим, становится заметно: дело уже не в частном выборе автора и не в случайной трагедии.

Повторяется культурный жест, который раз за разом выдают за высшую форму любви.

Меняются эпохи, стили и имена, но финал остаётся тем же — красиво погибнуть оказывается важнее, чем научиться жить.

Возвращаясь к этим текстам, я вижу: одного объяснения мало.

Гении работают с краями — в этом их право и их язык.

Настоящая проблема начинается дальше, когда культура превращает художественный предел в норму, трагедию — в образец, а катастрофу — в сценарий, который можно унести с собой.

Эту «другую сторону» — читателя, который уносит не мысль, а модель поведения, — культура предпочитает не обсуждать. Не из злого умысла, а потому что она обезличена: у неё нет собеседника и нет точки, где можно остановиться и задать вопрос об ответственности.

В результате красивый миф о любви оказывается удобнее честного разговора о жизни — даже когда он приводит к трагедиям.

Пожалуй, оставлю стойбища в покое. Там, насколько я могу судить, никто не требует, чтобы влюблённые ложились под поезд ради доказательства.

А вот к сценаристам Netflix есть небольшая просьба: пожалуйста, складывайте свои горы трупов в других жанрах.

Трупы гораздо уютнее себя чувствуют в детективах, триллерах, хоррорах, зомби-апокалипсисах и космических катастрофах.

А «романтическую любовь» не обязательно каждый раз хоронить — иногда ей можно дать дожить до финальных титров.

Глава 7

Починить или подчиниться

*«Не стоит прогибаться под изменчивый мир —
однажды он прогнётся под нас».*

— подслушано в 1997 году в электричке

Нью-Йорк → Филадельфия³⁵

В молодости почти каждый хочет починить мир.

Починить государство, где они там делают вид, что знают,
как надо жить нам здесь.

Починить общество, которое воспроизводит одни и те же
нелепости, как старый принтер, зажёвывающий бумагу.

Починить людей, которые «вот если бы чуть-чуть подумали,
обязательно бы стали лучше».

Починить родителей, друзей, коллег, систему образования,
любовь, историю, экономику, политику — всё.

В двадцать лет кажется, что достаточно повесить объявление:

«Работает ремонтник мироздания. Принимаю до заката».

И я бросался в этот ремонт с головой — как будто в чемоданчике набор ключей, которыми можно подкрутить всё человечество.

Но проходит время.

И желание починить незаметно превращается в необходи-

³⁵ Андрей Макаревич, лидер «Машины времени», написал «Однажды мир прогнётся под нас» в июне 1997 года — по его рассказу, в электричке из Нью-Йорка в Филадельфию, по дороге на выпускной вечер дочери. Песня вошла в альбом «Отрываясь» (1997).

мость подчиниться.

Подчиниться правилам, чтобы «не выделяться».

Подчиниться окружению, чтобы «не быть неудобным».

Подчиниться ожиданиям семьи, общества, начальников, партнёров — чтобы «не расстраивать», «не выводить», «не усложнять».

Подчиниться системе, которую уже не исправить, но которой можно незаметно отдать собственные силы — капля за каплей.

И вот то, что начиналось как дерзость, — заканчивается капитуляцией.

Не громкой, не театральной. Тихой. Почти вежливой.

Я даже не заметил, когда это произошло.

Я сдавался не на площади и не из окопа с поднятыми руками.

Я сдавался, когда говорил себе:

«Ну ладно, пусть будет так... ничего уже не изменишь».

Когда переставал спрашивать: «А я вообще этого хочу?»

Когда начинал жить в мире, который давно перестал быть моим.

Может, проблема была не в мире. Может, проблема в его размере.

Когда-то мне казалось, что «мир» — это всё: страны, войны, идеи, религии, правительства, толпы, тренды, заголовки, споры, скандалы, будущее цивилизации.

Но пришлось признать простую и, по правде сказать, со-

всем негероическую истину:

Это не мой мир.

Мир, который показывают по телевизору, ничего не знает о моём существовании.

Мир из новостей не зависит от моих решений.

Мир социальных сетей — вообще симуляция.

А мир политических страстей — театр, билеты на который продают по подписке.

И самое важное: этот мир нельзя починить, потому что он — не мой объект ремонта.

Зато есть другой мир.

Гораздо меньше и гораздо ближе.

И — единственный, который существует для меня.

Те несколько десятков людей, с которыми пересекаются моё время, чувства, надежды, память и выбор.

Те, кто может меня ранить, поддержать, вдохновить, соборать, разрушить или — редчайший подарок — оставить самим собой.

Из всех миллиардов людей эти влияют на мою жизнь сильнее всего.

Не все вместе. Каждый по-своему.

Вдруг оказалось — починить можно только этот собственный мир.

И это — единственное место, где ремонт имеет смысл.

«#И#Подчинился — проиграл.#И#

#И#Починил мир внутри — выжил.#И#»

Подчиниться внешнему миру — удобно. Там не нужно принимать решения. Там за тебя всё решили давно.

Но подчиниться своему окружению — это уже опаснее.

Некоторые люди требуют слишком много. Некоторые ничего не дают взамен. А некоторые забирают время, внимание и уверенность — то, что пригодилось бы там, где у меня есть реальная власть что-то изменить.

И вот тут главное:

Чинить нужно не мир.

И не себя (я не сломался — я долго жил по чужим правилам).

Чинить нужно — своё окружение. Нет-нет, не людей. Своё отношение к ним — и свои отношения с ними.

Потому что, повторю, моё окружение — и есть мой мир.

В моём опыте это оказалось не метафорой, а техническим фактом.

Если я починю отношения, которые меня разрушают, — поменяется атмосфера внутри.

Если я выйду из связей, которые держатся только на привычке, — станет больше воздуха.

Если я «пересоберу» свои Круги — изменится всё: от мыслей до решений, от раздражения до радости.

Но о Кругах — в следующей части книги. Собственно, ради них всё и затевалось.

Мир, который я «не могу изменить», — это абстракция.

Мир, который я могу изменить, — это люди рядом.

И вот его починить — вполне реально.
Это звучит просто. На практике — нет.
Потому что мир слишком большой.
А человек — слишком маленький.
Но когда я уменьшаю масштаб, всё внезапно становится управляемым.

Окружение — это моя погода.
Попробовать изменить земной климат — безумие.
Но открыть окно — я могу.
Переставить мебель — могу.
Выставить из комнаты того, кто кричит и ломает вещи, — могу.

Позвать тех, с кем тепло — могу.
Вот этот ремонт работает.
А мира «там» может и не существовать вовсе.
Есть странное ощущение, которое не отпускает: большая часть того, что окружает меня в медиапространстве, — фантом.

Новости исчезают через день, скандалы сгорают за ночь, а страхи, которыми меня пугали, оказываются то мыльными пузырями, то инструментами управления.

И то, что кажется огромным и важным на экране, в реальности может быть пустотой: без запаха, веса, смысла и последствий.

Зато разговор с одним человеком — меняет всё.
Звонок, который я давно откладывал, — меняет погоду

внутри.

Граница, которую я поставил, — возвращает силы.

Окружение, которое я пересобрал, — возвращает мне меня.

Так и выясняется: для меня реальный мир — это ближний круг.

Всё остальное — фон.

Иногда шум.

А иногда — вообще не существует.

Так починить или подчиниться?

Я выбираю третий вариант:

Не починить мир и не подчиниться ему.

А перестать играть в мир, который не принадлежит мне.

И заниматься только тем миром, где у меня есть власть — своим окружением.

Починить не человечество — а дистанцию с человеком, который меня разрушает.

Починить не общество — а ясность того, кто в каком Круге.

Починить не глобальное зло — а собственную привычку раздавать себя всем подряд.

Починить не политическую систему — а собственные связи.

Мировые проблемы, возможно, вечны.

Но жизнь — конечна.

Для меня единственный способ не подчиниться — почи-

нить пространство вокруг себя настолько, чтобы в нём можно было свободно дышать.

И жить.

И быть собой.

P.S. (написано уже после выдоха)

Много лет я думал о той строчке Макаревича и о тех, кто повторял её как заклинание — с сияющими глазами, с верой в то, что мир обязательно уступит, если просто стоять прямее и ждать достаточно долго.

Прошли годы.

Мир, конечно, прогибался — но чаще не туда, куда они планировали, и почти никогда под них.

Оказалось, что оптимизм тоже калечит судьбы — особенно когда человек путает сопротивление с упрямством, а внутреннюю стойкость — с отказом видеть реальность. Многие из тех «несгибаемых» потом тихо ломались — потому что мир не подписывал договор обещанного прогиба.

И я убеждён: мир — не металл, который можно согнуть силой личности.

Он — скорее резина: оттолкнёт, отскочит, ударит в ответ.

А иногда равнодушно вернётся в исходное положение, будто тебя и не было.

Те же, кто выжил, выжили не потому, что «не прогибались».

А потому что вовремя поняли: не нужно бороться с миром, который тебе не принадлежит, — нужно перестать жить

в нём.

И заняться своим — тем, который поддаётся ремонту.

Там и прогибать никого не нужно.

Там достаточно не предавать себя.

P.P.S. Если знаешь кого-то, в ком ещё теплится убеждение, что мир всё-таки можно прогнуть — передай ему небольшое предложение. Чисто в качестве разминки.

Попробовать, например, не прогибаться под земную гравитацию. Не сильно — просто удержаться в воздухе секунды две-три, без прыжка, без мебели и без помощи Ньютона.

А если этого покажется мало — пусть попробует не подчиняться атмосферному давлению. Тому самому, которое сейчас мягко и непрерывно давит примерно 760 миллиметрами ртутного столба. Достаточно отменить его волевым усилием — и дожидаться, пока воздух прислушается и ослабит хватку.

Когда получится — пусть обязательно расскажет, как.

Может быть, тогда я снова поверю, что и мир однажды прогнётся.

Хотя... после гравитации это будет уже мелочью.

Шучу, конечно. Правила общения, расписание и собственные привычки прогибаются куда легче гравитации. Мир целиком — нет.

В истории были и другие.

Те, кто не пытался прогнуть мир под себя.

Не строил планов тотального переустройства.

Не собирал толпы под знамёнами.

Сократ просто задавал вопросы — и выпил цикуту³⁶.

Джордано Бруно, кроме прочих ересей, раздвинул Вселенную до бесконечности — и оказался на костре.

Иисус не писал политических манифестов — но толпа всё равно выбрала Варраву.

Иногда человечество делает этот выбор почти машинально.

Тот, кто тревожит, — опасен.

Тот, кто удобен, — предпочтителен.

Эти люди не бунтовали в привычном смысле.

Они не требовали власти.

Они просто смотрели на мир иначе.

Задавали вопросы.

Отказывались повторять слова, в которые сами уже не верили.

Пробовали выйти из чужих сценариев — из привычных ролей, навязанных ожиданий, обязательств, которые разрушали, но назывались нормой.

Жить иначе. Честнее. Каждый по-своему.

И это — как ни странно — оказывалось самым опасным.

Потому что человек, который смотрит иначе, обнажает то,

³⁶ Цикута (*Conium maculatum*) — ядовитое растение. Сок из его семян использовался в Древней Греции как официальный яд для казней. Сократ выпил его в 399 году до н. э. по приговору афинского суда — за «развращение молодёжи» и «введение новых богов». По свидетельству Платона, он принял смерть спокойно, продолжая разговор с учениками до последнего момента.

что казалось единственно возможным.

Он ничего не требует — но его существование уже нарушает порядок.

Не потому, что нападает.

А потому что больше не соглашается.

Мир с такими людьми обходился особенно жёстко.

Сравнивать себя с ними я, разумеется, не собираюсь. Меня за мои вопросы в худшем случае перестанут звать на ужин.

Тема того, почему человечество раз за разом выбирает Варраву, — слишком большая, чтобы закрыть её несколькими абзацами.

И она здесь не одна такая.

Эта книга обрастает боковыми корнями — темами, которые в неё уже не помещаются.

Они требуют другого масштаба, другого дыхания, другого разговора.

Похоже, придётся писать ещё одну.

Не потому, что я планировал серию.

А потому что некоторые вопросы не соглашаются оставаться сносками.

После всех этих разговоров о мире, гениях, революциях и Варравах остаётся простой, почти бытовой вопрос:

Если мир не мой объект ремонта — то что конкретно тогда моё?

Где заканчивается шум — и начинается пространство, за

которое отвечаю я?

Без ясной карты собственного окружения дальше идти нельзя.

Дальше — не про человечество.

Не про культуру.

Не про систему.

Дальше — про Круги.

Часть 2

Немного теории.

Обещаю, с перерывами

В первой части — слова, смыслы, причины.

И боль — куда без неё.

Но боль — это только сигнал.

Чтобы двигаться дальше, мне нужно было перестать спорить с миром и попробовать разобраться в себе.

Понять, что именно не работает — и почему я раз за разом злюсь, закрываюсь или, наоборот, растворяюсь в других.

Источник почти всегда один — люди рядом.

Связи.

И вопрос оказался простым: а могу ли я выбирать своё отношение к связям?

Сознательно.

Без автоматизма, без вины, без чужих сценариев.

Во второй части — то, что я с оговорками называю теорией.

Из неё и вырастают Круги Васко Банкова.

Про то, как мозг распределяет внимание и привязанность.

Про число Данбара — и про то, есть ли у близости предел.

И про четыре уровня принятия — то, что хочу сделать

своим компасом в отношениях.

Глава 8

Всё свалено в одну кучу

«Всё было хорошо, пока я не открыл свой список контактов и решил, наконец, выяснить — кто эти люди и почему они все хотят, чтобы я был с ними на связи.

Через десять минут мне стало страшно, через двадцать — стыдно,

и я просто сделал вид, что случайно нажал „заккрыть“».

— из утечек внутренней переписки

Вопрос, который оказался сложнее, чем казался: почему одни люди остаются в моей жизни, а другие — нет?

Некоторые отношения складывались легко и крепко. Другие разрушались, хотя я вроде бы старался.

Иногда я держался за кого-то слишком долго. Иногда отпускал — и только потом понимал, что было важно.

Проблема оказалась не только в людях, но и в том, как я сам выстраиваю свои связи. Интуитивно, случайно, по привычке — но редко обдуманно.

И возник вопрос: а можно ли с этим обходиться иначе?

Не управлять другими — а понимать, почему и кого я впускаю в свою жизнь.

И на какую глубину.

Сама идея управлять этим казалась странной. Ведь отношения — вроде как естественная часть жизни, а не система, которую надо настраивать.

Но, может, всё намного проще: если не я выбираю, то выбирают за меня. Ситуации, привычки, случайные встречи.

Мой жизненный календарь заполняется не потому, что я что-то решил, а потому, что «так вышло». И вот уже мне не хватает времени, внимания, сил — а я даже не уверен, что отдаю их тем, кому хочу.

Много разговоров, где я должен быть «включённым».

Много связей, где я чувствую себя обязанным.

Мало где я по-настоящему расслаблен и принят.

Так я подошёл к идее: если внимание и силы — тоже не бесконечные монеты, то, может быть, мне стоит научиться распоряжаться ими так же бережно, как я стараюсь распоряжаться временем или — прости за прозу — финансами. Разве моё окружение заслуживает меньшего?

Вот с этого и начались наблюдения. За собой, за другими. Как в одних отношениях я живу без напряжения — а в других всё время что-то доказываю. Как я говорю «да», когда хочу сказать «нет». Как от встреч с одними я выхожу с силами, а от других — опустошённым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.